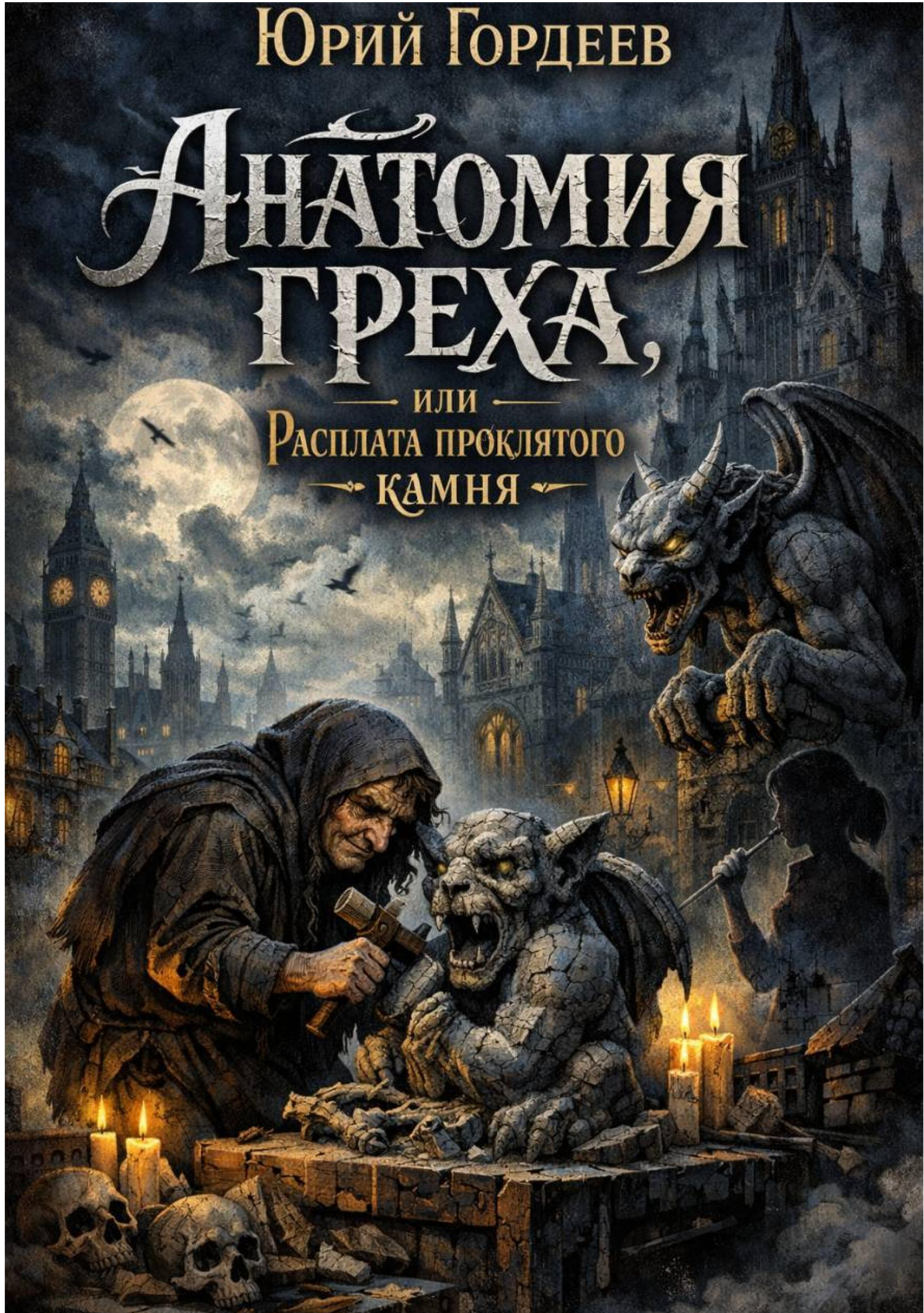


Юрий Гордеев

Анатомия ГРЕХА,

— или —
Расплата проклятого
КАМНЯ —



Юрий Гордеев

**Анатомия греха , или
Расплата проклятого камня**

«Автор»

2026

Гордеев Ю. С.

Анатомия греха , или Расплата проклятого камня /
Ю. С. Гордеев — «Автор», 2026

Лондон, 1850-е. Город, задыхающийся в желтом тумане, строится не на кирпичах, а на лжи. Пока знать пирует в золоченых залах, в тени столичных соборов живет Алистер Кроук — уродливый карлик-горбун, чьи руки способны заставить камень дышать. Он вырезает горгулий, но в их застывшие оскалы он прячет не фантазии, а реальные грехи прохожих. Случайная находка древнего манускрипта открывает Алистеру пугающий дар: он может «лечить» город, высекая пороки людей в граните. Но у этой алхимии есть цена, написанная кровью. Каждый раз, когда резец завершает работу над изваянием, человек, чей грех запечатлен в камне, умирает в агонии. Алистер верит, что он спаситель, но для Лондона он — невидимый палач.

© Гордеев Ю. С., 2026

© Автор, 2026

Юрий Гордеев

Анатомия греха , или

Расплата проклятого камня

Часть I. Глина и Прах

Глава 1. Утроба Копоти

Лондон пожирал сам себя, и начинал он всегда с неба. В тот ноябрьский вторник 1852 года туман оседал на язык вкусом жжёной кости и прогорклого жира. Вода хлестала по шатким лесам безымянного собора. На высоте ста футов, там, где шпили должны были испарывать брюхо туч, висел Алистер Баратеон. Для тех немногих, кто знал о его существовании, — просто Кроук.

Он не стоял на помосте — он врос в доски, обхватив гранитную глыбу короткими ногами. Горб натягивал холщовую рубаху до треска нитей. Внизу копошились тёмные точки — люди, экипажи, лошади в грязи. Здесь, наверху, царила только холодная геометрия боли и мокрого гранита.

Долото впилося в породу. Удар. Киянка опустилась на железный обух. Удар. Кроук высек гаргуюлю — не благообразного стража, которого требовали аббаты, а нечто вывернутое наизнанку: вывихнутая челюсть, ряд кривых зубов, пустые глазницы.

Каждое движение отдавалось судорогой в искривлённом позвоночнике. Пальцы, узловатые, обладали пугающей чувствительностью. Он не резал — он нащупывал гниль внутри породы.

Внизу, в сточных канавах, бурлила человеческая слизь. Кроук ненавидел этот муравейник. Люди смердели, покрывались язвами, разлагались. Камень впитывает всё и хранит вечно.

Внезапно долото звякнуло о нечто иное. Глухо. Утробно. Не так. Кроук замер, наклонился ближе. Внутри ниши, которую он вырубал для крепления статуи, зияла аномалия — не дефект кладки, а намеренно оставленная брешь, заложенная плоским сланцевым кирпичом.

Ледяной ветер взывал в лесах. Алистер вцепился в края ниши. Из щели тянуло пересушенным пергаментом и мертвечиной — временем, остановившимся задолго до того, как этот собор вообще был задуман.

Отложив киянку, Кроук подцепил край сланца тонким резцом. Инструмент вошёл в щель с влажным хрустом. Сухожилия натянулись. Сланец поддался с хрипом и отвалился внутрь стены, открывая зев тайника.

Внутри, скрытое от солнца неизвестно сколько лет, лежало нечто, завёрнутое в истлевшую бычью кожу. Не золото. Не церковная утварь — такие вещи пахнут алчностью. Свёрток пах запечатанной в ледяном молчании тьмой. Руки резчика, никогда не дрожавшие при работе с базальтом, сейчас мелко тряслись.

Свёрток поддался неохотно — будто за века пустил корни в каменную утробу собора. Бычья кожа рассыпалась под пальцами, оставляя маслянистый след.

Внутри угадывались плотные, спрессованные листы. Книга. Тяжёлая, как неискуплённый грех. Порыв ветра бросил в лицо горсть ледяной мороси.

Кроук огляделся. Сквозь мутную пелену дождя различались лишь размытые пятна — спины каменщиков внизу, сгорбленных под тяжестью тачек с раствором. Никто не смотрел вверх. Резким движением Алистер разорвал ворот рубахи, оторвав единственную уцелевшую пуговицу, и сунул фолиант на грудь.

Книга легла туда, где грудная клетка уступала место горбу, — ледяным слитком на потной коже. Карлик судорожно втянул воздух. Под переплётом что-то слабо билось. Живое. Как

будто он прижал к груди чужое, остановившееся сотни лет назад сердце — и оно пыталось завестись от его крови.

Он снова взялся за киянку и резец. Но теперь удары звучали иначе — исчезла монотонность ремесленника, в каждом взмахе появилась лихорадочная одержимость. Гаргулья, казалось, ослабилась в понимающей ухмылке. Кроук с остервенением вгрызался в гранитную пасть, высекая раздвоенный язык, покрытый бороздами-язвами, — пока бронзовый голос колокола внизу не прохрипел шесть ударов. Конец смены.

Спуск на землю всегда был для Алистера сродни пытке. Каждый шаг по скользким перегибам отдавался болью в искалеченных коленях. Кроук сползал по лесам, как гигантский краб, вцепившись пальцами в мокрые доски так, что под ногти забивались занозы. Книга на груди давила, царапала кожу, но он прижимал её предплечьем с ревностью матери, защищающей дитя.

Когда сапоги с чавканьем погрузились в жижу у подножия собора, Лондон обрушился на него всем своим смрадом и плотью. Здесь, на уровне канав, воздух был густым, как похлёбка: гнилая капуста, жареные каштаны, конская моча, дешёвый джин, кислый пот немых тел.

Толпа — клерки в лоснящихся сюртуках, торговки с красными от холода руками, обрывыши-карманники, проститутки с лицами, набелёнными до состояния масок, — текла мимо непрерывным потоком. Люди инстинктивно огибали горбуна, как вода огибает брошенный в ручей валун. Подмастерье брезгливо сплюнул ему под ноги; полная женщина в чепце отшатнулась, судорожно крестясь.

Алистер не обращал внимания. Он привык быть пятном плесени на парадном портрете этого мира. Натянув капюшон на брови, он зашаркал прочь от стройки — в трущобы Севен-Дайлс, в свою нору, куда никто не посмеет прийти за тайной, спрятанной под рубахой. Ему нужно было зажечь огарок свечи и вскрыть истлевшую кожу, чтобы узнать, чью проклятую душу выплюнул ему в руки старый собор.

Путь до Севен-Дайлс был погружением на самое дно упадка. Улицы сжимались в узкие кишки, по которым проталкивалась масса оборванцев. Алистер волочил подбитые железом башмаки по скользкой брусчатке, утопая в жиже, где конский навоз мешался с помоями. Тусклые газовые рожки выхватывали из мрака фрагменты зверинца: беззубые рты, торгующие сомнительными пирогами, струпья на лицах нищих, блеск джина в глазах уличных девок.

У перекрёстка семи улиц Кроук едва не сбил с ног тучного торговца требухой. Дитина с руками по локоть в свиной крови разразился бранью, обдав карлика перегаром. На прилавке громоздились сизые кишки и бледные пороссячи тушки. Алистер надвинул капюшон глубже; ноздри раздулись, вбирая запах свежей плоти, странно диссонирующий с сухим холодом книги на груди.

Фолиант жил будто собственной жизнью — неровные края царапали кожу при каждом шаге, но Кроук чувствовал не боль, а сосущую пустоту в животе: голод познания, вытесняющий даже инстинкт самосохранения. Ему чудилось, что каждый встречный вор провожает его спину цепким взглядом. Горб ныл в такт шагам, будто требуя поскорее скрыться в темноте.

Жилище располагалось на чердаке полусгнившего доходного дома на Монмут-стрит. Четыре пролёта винтовой лестницы, изгрызенной крысами и временем, превращались в ежедневную Голгофу. Воздух в подъезде был спёртым, настоящим на кислой капусте и сырости; на третьем этаже за хлипкой дверью надрывался детский плач и глухо стучали кулаки о плоть — обыденная симфония лондонского вечера.

Наверху Алистер дрожащими руками достал латунный ключ. Замок поддался со скрежетом. Кроук ввалился внутрь, навалившись на дверь всем телом, чтобы задвинуть железный засов, — и позволил себе выдохнуть только после спасительного щелчка.

Нора была тесной, под скошенной крышей, но она была царством камня: обломки песчаника, куски мрамора, сколотые резцы, тяжёлые киянки. Пахло известковой пылью — сухим,

стерильным запахом, перебивающим вонь улиц. Не снимая мокрого плаща, Кроук подошёл к столу, заваленному чертежами и графитовыми набросками уродливых лиц, и дрожащими пальцами чиркнул серной спичкой.

Слабое пламя выхватило из мрака гротескную тень горба на закопчённом потолке. Алистер расстегнул ворот и с холодным голодом, какого не испытывал даже в церкви, извлёк свёрток. Истлевшая кожа рассыпалась в прах, обнажая массивный переплёт из тёмного дерева, окованного пожелтевшим металлом. Замка не было — лишь глубоко вырезанный символ: переплетённые в спираль змеи, пожирающие не хвосты друг друга, а собственные глаза. Кроук затаил дыхание и медленно, как поднимая крышку гроба, откинул обложку.

Первая страница была плотной, желтоватой, с тонкими тёмными прожилками, похожими на кровеносные сосуды. Пергамент оказался не телячьим — пористый по краям и до тошноты гладкий в центре. Чернила, которыми были выведены угловатые, похожие на рубцы от долота буквы, за столетия выцвели до цвета свернувшейся крови. Воздух в камерке стал тяжёлым; пламя свечи дёрнулось, зашипело и вытянулось в тонкую коптящую нить.

Алистер низко склонился над текстом. Его зрение, привыкшее распознавать трещины в граните сквозь смог, с трудом выхватывало смысл из архаичной вязи. Это была не латынь аббатов и не сухой язык гильдейских уставов — текст казался вырубленным тесаком, каждое слово ложилось на язык с тяжестью булыжника.

На верху страницы, обрамлённый виньетками из искажённых в агонии лиц, перетекающих в очертания фундамента башни, располагался эпиграф. Ритм строк был рваным, скрежещущим, похожим на пилу, вгрызающуюся в кость:

Плоть есть лишь гниль, эфемерность распада, В камне — бессмертие, в камне — печать. Высеки грех из гранитного ада, Чтобы заставить скулящих молчать. Кровь станет пылью, а кости — золою, Город сожрёт сам себя поутру. Истинно зрячий сроднится со скалою, Вырезав душу, как плотник кору.

Кроук судорожно выдохнул и отшатнулся от стола. Табурет скрипнул. Слова стучали в висках ударами собственной киянки.

Не сон. Не бред. Правда.

Он поднял руки к пламени свечи. Широкие ладони с вьёвшейся известковой крошкой, обломанные чёрные ногти. Руки уродца. Руки ремесленника. Всю жизнь он верил, что просто придаёт форму мёртвой породе, вымещая на горгульях обиду на Господа за искорёженный позвоночник.

Но книга утверждала иное. Камень не был мёртв — он был голоден. А люди, копошащиеся внизу в грязи, были лишь временной, мягкой слизью, чьи пороки служат пищей для вечных монолитов. Архитектура — не искусство возведения сводов, а монументальный акт поглощения человеческой скверны.

За окном чердака Лондон зашёлся кашлем угольных телег и пьяными криками из переулков — огромный, гнойный левиафан, не подозревающий, что его фундаменты живут своей жизнью. Алистер снова навалился на стол, не обращая внимания на боль в спине, и погрузился в следующие абзацы манускрипта.

Пергамент переворачивался с сухим хрустом, похожим на треск птичьих костей. За эпиграфом следовали чертежи — не выверенные схемы главного архитектора собора, а линии, извивающиеся, будто кровеносные сосуды, налитые чёрной желчью. На развороте был изображён продольный срез готического храма: своды поддерживались не колоннами, а вытянутыми до гротеска человеческими позвоночниками. Вместо алтаря зияла усеянная зубами утроба, уходящая корнями в фундамент.

Кроук поднёс свечу ближе, рискуя спалить хрупкую древность. От манускрипта тянуло духом разорённого склепа и растёртой белладонной. Текст был написан на искорёженной латыни, пересыпанной алхимическими символами, — но карлик, чьё образование ограничива-

лось руганью десятников да подслушанными проповедями, каким-то образом улавливал суть. Слова вползали в его воспалённый мозг, как слепые земляные черви, ищущие тёплое мясо.

«Ибо всякая страсть человеческая суть слизь и зловоние, — гласил абзац, обведённый рамкой из переплетённых фаланг пальцев. — Гнев источает кислоту, разъедающую железо. Блуд оставляет на мостовых фосфоресцирующий след гниения. Жадность тянет к земле, уплотняя породу до состояния чёрного алмаза. Лишь резчик, отмеченный уродством телесным, способен узреть уродство внутреннее, сокрытое под бархатом и парчой. Лишь его резец может стать пиявкой, что отсосёт дурную кровь больного мира».

Горб на спине Алистера дёрнулся — непроизвольное мышечное сокращение от долгого сидения, но в полумраке ему почудилось, что нарост одобрительно зашевелился, признавая правоту древних строк.

Кроук медленно опустился на табурет. Он смотрел на свои руки, покрытые известковой коркой. Всю жизнь он ненавидел эту пыль — клеймо раба, обрекающее обслуживать чужую веру в божество, допустившее рождение таких чудовищ, как он. Теперь перспектива сместилась.

Далеко на Монмут-стрит сквозь завывания ветра прорвался женский визг, тут же обравшийся глухим ударом и мужским гогогом. Лондон продолжал свою еженощную рутину — жрал, совокуплялся, грабил в подворотнях, убивал за гнутый шиллинг.

Алистер перевёл взгляд на следующую страницу. Гравюра изображала гаргулью — до одури похожую на ту, что он высекал сегодня под дождём: тот же разинутый рот с вывихнутой челюстью, втягивающий чёрную дымную субстанцию. Дым исходил от человека у подножия пьедестала — мёртвого, с грудной клеткой, вскрытой не лезвием хирурга, а чудовищным давлением изнутри. Лицо покойника застыло в маске ужаса; морда гаргульи, напротив, приобрела сытое выражение.

Подпись под гравюрой гласила: *«Translatio Peccati. Перенос греха. Когда мёртвый камень принимает идеальную форму живого порока, носитель одного порока испускает дух в муках, ибо две абсолютно идентичные скверны не могут существовать в одном пространстве. Камень, впитавший грех, становится вечным стражем. Плоть же, лишённая своей гнилой сути, уступает место смерти».*

Кроук судорожно сглотнул. Если верить этим каракулям, статуя не просто символизирует уродство души для устрашения прихожан — она это уродство вытягивает, забирает без остатка, а вместе с ним вырывает саму жизнь. Он, уличный мусор, которого пинают оборванцы, держал в руках тайную анатомию мироздания.

Свеча, издав последний треск, захлебнулась в луже собственного жира. Кроук погрузился в темноту чердака, куда сквозь мутное стекло пробивался лишь свет газовых рожков Монмут-стрит. Он сидел неподвижно, слушая, как колотится сердце — тяжело, будто крыса, пойманная в тесную мышеловку. Манускрипт на столе казался живым: от него исходило едва уловимое тепло, гниlostное испарение прелой листвы с кладбища для нищих.

Алистер погрузил пальцы в шевелюру, с силой царапая кожу головы. Это не могло быть правдой — бред выжившего из ума монаха, надышавшегося болотными миазмами. Но почему тогда его суставы так отчаянно жаждали схватить железо? Почему в воображении уже вырисовывались чужие лица?

Он встал, едва не опрокинув табурет, и подошёл к окну. Внизу продолжался круговорот лондонского дна: двое пьяных матросов сцепились в грязи, пока уличная девка обшаривала их карманы; телега ассенизаторов обдала жижей торговца печёными яблоками. Никому не было дела до чужой боли. Город питался страданиями и выплёвывал останки в холодные воды Темзы.

Кроук прижался лбом к ледяному стеклу. Если фолиант не врёт... если его уродство — не насмешка Создателя, а инструмент, дарованный самой Бездной? Что, если он способен не просто наблюдать за этим гниением с высоты лесов, а управлять им?

Его взгляд скользнул по собственному отражению: массивный надбровный валик, глубоко посаженные глаза в красных прожилках, искривлённый рот с искусанными губами. Лицо чудовища. Люди всегда отворачивались от него, считая геологической ошибкой природы, годной лишь таскать камни.

— Трансляция греха... — прохрипел он в пустоту. Голос сорвался в сухой, лающий кашель.

Он вспомнил ростовщика с Флит-стрит, мистера Эбинеизера Крампа, — человека, чья душа была такой же чёрной, как уголь, которым отапливались каминные Вест-Энда. На прошлой неделе Кроук видел, как Крамп выколачивал долг из плачущей прачки, смакуя каждую слезу на её впалых щеках. В его заплывших жиром глазах читалась та же жадность, что сквозила в безумных гравюрах трактата.

Алистер резко отшатнулся от окна. В его впалой груди, там, где обычно ютилась тупая обида, начало разгораться холодное, расчётливое пламя. Он бросился в угол, где сваливал обломки породы, не сгодившиеся для облицовки собора, и принялся перебирать куски песчаника и ракушечника.

Нет, всё это слишком мягкое для такой задачи. Жадность Крампа требовала чего-то невыносимо тяжёлого, способного удержать колоссальное давление чужого порока.

На дне кучи, под слоем пыли и стружки, пальцы наткнулись на глыбу базальта — тяжёлый, беспросветно-чёрный камень, привезённый с северных каменоломен и отбракованный за слишком плотную структуру. Кроук потянул его на себя; мышцы спины напряглись до треска сухожилий, горб вздулся под рубахой.

Он водрузил базальт на верстак, смахнув на пол чертежи и стружку. Камень лежал перед ним — грубый, бесформенный сгусток мрака. Но Алистер уже видел то, что скрыто внутри: набухшие от алчности веки ростовщика, тонкие губы, похожие на насосавшихся пиявок, пальцы, скрюченные в вечном хватательном жесте над чужими медяками.

Кроук вытащил свой лучший резец — узкий клинок из шэффилдской стали, — провёл большим пальцем по лезвию, ощутив лёгкий укол, и медленно занёс инструмент над камнем.

Тишину чердака разорвал первый, оглушительно звонкий удар киянки — как выстрел, возвещающий начало новой эпохи в истории гниющей столицы. Базальт брызнул чёрными искрами, и Алистер Баратеон, навсегда сбросив оболочку церковного чернорабочего, приступил к своему первому истинному исцелению.

Горб на его спине впервые за тридцать лет не ныл — он работал.

Удар следовал за ударом. Базальт сопротивлялся с упрямством древнего чудовища, не желающего пробуждаться от вечного сна. Искры на мгновения выхватывали из мрака перекошенное, залитое потом лицо Алистера. Он не зажёл новую свечу — свет был не нужен. Руки, покрытые вздутыми венами, «видели» породу лучше глаз.

Каждый разряд киянки отдавался в позвоночнике тупой болью, но теперь эта боль казалась сладкой — топливом. Кроук вспоминал Крампа: тушу, обтянутую дорогим сукном, трещащим на швах от обилия пудинга и баранины; пальцы, влажные и толстые, как сардельки, перебирающие засаленные векселя.

Алистер вгрызлся в блок с остервенением, снимая пустую оболочку породы, чтобы обнажить ядро алчности, дышавшее через поры камня. Резец соскользнул, оставив на суставе борозду; тёмная кровь смешалась с каменной пылью и капнула на высекаемый контур заплывшего глаза ростовщика. Базальт жадно впитал влагу.

Кроук замер, тяжело дыша. Воздух сделался невыносимо плотным — запах жжёного кремня, кислого пота и странной, древней сукровицы, исходящей от книги в углу. Ему почудилось, что в момент, когда кровь коснулась камня, нутро глыбы издало тихий чавкающий звук.

За тонкими стенами кто-то хрипло кашлял, скрипели рессоры телег на мостовой. Но здесь, в эпицентре его безумия, время свернулось в тугую спираль.

Он снова занёс киянку — теперь высекал рот, тот самый, что кривился в презрительной усмешке, выплёвывая угрозы долговой тюрьмы в лицо нищим вдовам. Кроук искажал пропорции, доводя их до тошнотворного уродства: губы становились похожими на раздувшихся пиявок.

Горб на его спине горел огнём, будто тяжелел с каждым ударом, вбирая часть той энергии, которую Алистер вбивал в базальт. Он больше не был жалкой тварью с лесов стройки — в этой норе под крышей он становился демиургом, перекраивающим плоть через мёртвую материю.

Каменная крошка забивалась в нос, скрипела на зубах. Грань между его искалеченным телом и куском скалы начала стираться: когда он ударял по выступу подбородка ростовщика, его собственная челюсть сводилась судорогой.

«Трансляция греха», — стучало в висках в такт киянке.

Он не заметил, как серая хмарь рассвета начала просачиваться сквозь грязное стекло. Ночь пронеслась одним лихорадочным вздохом. Базальтовый блок больше не был бесформенным — из его чёрной утробы проступали очертания раздутого лица, ещё слепого, грубого, но в нём уже безошибочно угадывалась гнилая суть мистера Крампа.

Руки Алистера безвольно опустились. Резец со звоном выскользнул из окровавленных пальцев и покатился по доскам. Карлик рухнул на колени в кучу стружки, жадно глотая воздух. Он смотрел на плоды своей ночной агонии, и впервые за много лет в его глазах стояли слёзы — жгучие, соленые слёзы абсолютного восторга.

Рассвет вторгался на чердак не как предвестник нового дня, а как застарелая болезнь. Свет сквозь засаленное стекло имел желтушный оттенок, напоминающий кожу мертвеца, выловленного из Темзы на третьи сутки. Алистер с трудом оторвал колени от пола — суставы издали треск, похожий на ломающиеся сухие ветки.

Горб налился свинцовой тяжестью, будто впитал за ночь всю ту ярость, которую карлик вбивал в базальт. Кроук опустил руки в лохань с мутной ледяной водой; она мгновенно окрасилась в бурый цвет — известковая пыль смешалась с запёкшейся кровью из раны на суставе.

Он умыл лицо, растирая кожу до красноты. Ледяная вода не принесла бодрости, лишь заострила чувства. Желудок свело голодом. На перекошенной полке лежал огрызок чёрствого хлеба и кувшин выдохшегося эля. Алистер вгрызся в корку крепкими жёлтыми зубами — еда не имела вкуса, просто сухой строительный материал для поддержания архитектуры собственного тела.

Закончив трапезу, он обернулся к верстаку. Базальтовая глыба, из которой уже проступали черты ростовщика Крампа, в утреннем свете казалась ещё более злобейшей — опухолью, созревшей в недрах земли. Кроук стянул с постели грязную дерюгу и набросил её на скульптуру. Под тканью угадывались очертания чего-то массивного, будто на столе покоилась отрубленная голова гиганта.

Затем настал черёд фолианта. Древняя книга больше не казалась связкой мёртвого пергамента — от неё исходил едва уловимый сухой жар. Алистер завернул трактат в остатки бычьей кожи с холодным голодом, каким скупец пересчитывает чужое золото, подцепил лезвием долота расшатанную половицу и втиснул свёрток в пыльное пространство между лагами. Задвинув доску на место, притоптал её сапогом.

Пора было возвращаться в чрево Лондона. Пропуск дня на лесах собора означал потерю жалких пенни, а главное — мог привлечь внимание десятников гильдии. Кроук натянул пропитанный пылью плащ, надвинул капюшон и шагнул за порог норы.

Спуск по винтовой лестнице сопровождался какофонией просыпающихся трущоб: хныкали голодные дети, ругались сиплыми голосами мужчины, звенела битая посуда. Монмут-стрит встретила его густым смогом, оседавшим на губах привкусом серы и жжёного угля.

Улица уже кипела. Торговки разводили костры прямо на мостовой, разогревая в медных чанах варево из требухи и гнилой капусты. Мимо с гиканьем пронёсся оборванный мальчишка-трубочист, чёрный от сажи. Воздух дрожал от криков, лязга колёс и ржания обозных лошадей.

Раньше этот людской водоворот вызывал у Алистера лишь глухое желание забиться в щель и не отсвечивать. Он привык скользить вдоль стен тенью, стараясь не задеть плечом прохожих, чтобы не получить в ответ пинок. Но сегодня всё было иначе.

Навстречу, пошатываясь, брёл портовый грузчик — гора немых мускулов, источающая смрад дешёвого джина. Грузчик шёл напролом. В любой другой день Кроук вжался бы в кирпичную кладку, уступая дорогу более сильному зверю. Но сейчас его ноги сами упёрлись в брусчатку.

Грузчик наткнулся на него, точно на вкопанный могильный камень. Отшатнулся, рот искривился в готовности извергнуть брань. Но Алистер не отвёл глаз. Из-под капюшона на грузчика смотрел не забитый калека. Анатом. Оценивающий степень разложения куска мяса.

Он не видел пьяного человека. Он видел источенный пороком известняк.

Грузчик подавился словами. Отвёл взгляд и, буркнув нечленораздельное, обогнул горбуна.

Губы Алистера тронула тонкая, лишённая веселья улыбка. Город вокруг него больше не был хаотичной свалкой плоти. Лондон превратился в гигантскую каменоломню. И он, Алистер Баратеон, шёл на свою истинную работу.

Дорога к стройке пролегла через самое чрево пробуждающегося зверя. Лондон отхаркивал ночной туман, заменяя его горчичным дымом тысяч печных и фабричных труб. Безымянный собор, к которому стягивались ручейки таких же угрюмых рабочих, возвышался над районом, как колоссальная грудная клетка полусгнившего левиафана. Строительные леса опутывали его почерневший остов, напоминая грязные бинты на гноящейся ране.

У подножия сутился десятник гильдии — тощий, желчный Скрабб, чьё лицо напоминало скомканный лист бухгалтерской книги. Он выкрикивал имена, вычёркивая их огрызком графита в засаленном реестре.

— Баратеон! — каркнул Скрабб, когда очередь дошла до карлика, брезгливо морщась. — Опять тащишься, как беременная вошь. Живо настил, северная башня! Если к вечеру водосток не будет готов, я вычту из твоего жалованья стоимость каждого испорченного дюйма камня.

Вчера Кроук отвёл бы взгляд и, сгорбившись, побрёл к лестницам. Сегодня он остановился. Он медленно поднял голову. Из-под капюшона на Скрабба уставились два глубоких колодца холодной, расчётливой бездны. «Мелкая тварь, — подумал Кроук спокойно, как гранитная плита. — Твоя злоба слишком пресна. Ты даже не достоин того, чтобы марать о тебя хороший базальт».

Ничего не сказав, карлик прошёл мимо, оставив Скрабба с открытым ртом и внезапно похолодевшей спиной.

Подъём по лесам занял почти час. Каждая перекладина, покрытая утренней изморозью, отзывалась в теле Алистера судорогой. Но теперь эта боль не властвовала над ним — она была лишь фоновым шумом, скрежетом шестерёнок в механизме, который он сам запустил.

Добравшись до своего яруса, он ощутил, как ветер ударил в грудь, пытаясь сбросить его вниз, на острые пики оград. На высоте ста футов Лондон предстал перед ним во всём своём пугающем масштабе: море кривых крыш тонуло в смоге, внизу копошились миллионы людей — сутились, лгали, прелюбодействовали, копили медяки, сходили с ума от сифилиса, молились глухим небесам.

Алистер подошёл к гаргулье, брошенной вчера вечером. В бледном свете утра он ощутил горький привкус разочарования. Вчера эта пасть с раздвоенным языком казалась венцом его мастерства. Сегодня он видел лишь то, чем она была на самом деле — мёртвой болванкой, куском податливого известняка для отвода дождевой воды. В этом камне не было подлинного голода. Он был стерилён.

Настоящая жизнь ждала его там, внизу, под грязной дерюгой в тёмной камерке на Монмут-стрит. Базальт, впитавший его кровь.

Он стянул плащ, оставшись в рубахе, под которой бугрился горб, и взял в руки казённое долото и киянку. Нужно было играть свою роль — инструмент слепого ремесленника, песчинку в жерновах гильдии. Он приставил лезвие к известняку.

И тут это случилось впервые.

Между лопаток шевельнулось тепло — не от усилия, не от пота. Тупой, ровный жар пополз вдоль горба, будто внутри бугра, который он всю жизнь ненавидел, кто-то медленно, размеренно вдыхал и выдыхал. Раз. Два. Он замер с занесённым долотом, не веря собственной спине. Базальт был в двух милях отсюда, заперт в тёмной камерке. И всё же — дышал. Через него.

Кроук стиснул зубы и не издал ни звука. Только руки, вцепившиеся в рукоять киянки, побелели.

Взгляд скользнул поверх крыш, туда, где за лабиринтом переулков пульсировала Флит-стрит. Он знал, что где-то там, в тесной конторке, мистер Эбинейзер Крамп запивает жирную ветчину густым чёрным чаем, не подозревая, что его судьба больше не принадлежит ему. С каждым жадным глотком он всё больше привязывает свою гнилую суть к чёрному блоку, запертому на чердаке.

Алистер Баратеон занёс деревянный молот и ударил по железу.

Звонкий звук разнёсся над туманным городом, потонув в тысячах других строительных звуков. Но для Кроука это был уже не стук раба, отрабатывающего свой хлеб, — а неумолимый метроном, отсчитывающий последние часы первой жертвы. Он бил по пустому известняку, но чувствовал, как далеко отсюда, в недрах базальта, медленно формируется чудовищный лик. Лондон дышал под ним — огромный, больной пациент, ожидающий скальпеля своего единственного, искалеченного хирурга.

Глава 2. Шкатулка из гнилого дерева

Память Алистера Баратеона не была анфиладой светлых комнат — она походила на заброшенный склад в доках Ист-Энда: тесное, душное пространство, набитое обломками чужих жизней и запахом застоявшейся речной воды. В этой главе своего существования не было солнца. Была лишь тьма, имевшая вкус неструганой сосны и сырой земли.

Первое воспоминание Кроука — это отсутствие пространства. Мир для него начался не с первого крика, а с первого удара затылком о жёсткую крышку. Теснота сформировала его кости раньше, чем он научился ими пользоваться: крошечные лопатки упирались в доски, позвоночник, не имея возможности вытянуться, начал покорно изгибаться, ища лазейку в деревянном плену. Именно тогда его плоть проиграла битву геометрии. Горб не был болезнью — он был ответом организма на тесноту гроба, в который его заколотили живым.

Шкатулка пахла рыбой и дешёвым скипидаром. Сквозь щели в досках просачивались звуки внешнего мира: хриплый смех портовых шлюх, крики чаек, дерущихся за потроха, ритмичный плеск Темзы о склизкие сваи моста.

— Заткнись, выродок, — этот голос, надтреснутый, как лёд на луже, принадлежал женщине, которую он считал матерью.

Марта «Рыбья Чешуя» торговала сельдью на набережной и своим телом в переулках Уайтчепела. Алистер видел её лишь фрагментами сквозь щели в досках: красные, отёкшие

от солёной воды палыцы, объединенные язвенной сыпью лодыжки, вечный запах пережаренного жира. Она прятала его в ящике под прилавком, среди пустых корзин и чешуи, блестящей в полумраке, как россыпь фальшивого серебра.

Он рос, сворачиваясь в узел: колени упирались в подбородок, пятки вросли в ягодицы. В этом эмбриональном кошмаре он научился слушать камень раньше, чем людей. Мостовая под ящиком вибрировала — он чувствовал поступь каждого прохожего, тяжёлую поступь господ в лакированных сапогах и шарканье умирающих от чахотки бродяг. Земля говорила с ним через дерево, передавая гул огромного, безразличного города.

Однажды — Кроуку казалось, что ему было около пяти лет, хотя время в коробке не имеет делений — крышка распахнулась. Свет ударил по воспалённым глазам, как раскалённое клеймо. Над ним стояла не Марта.

Это был человек в длинном чёрном пальто из тончайшего сукна, пахнувший ладаном и старой кожей — тем самым ароматом, который Алистер спустя десятилетия узнает в найденном фолианте. Лицо незнакомца тонуло в тени полей шляпы, но Кроук запомнил его руки: длинные, белые, холёные пальцы, на одном из которых тускло поблёскивал массивный перстень с печатью.

— Значит, это и есть плод моего мимолётного затмения? — голос был глубоким, полным безразличного любопытства, какое испытывает анатом при виде редкой деформации плода в банке с формалином.

Марта стояла рядом, прижимая к груди грязный передник. Её руки дрожали так, что чешуйки сельди осыпались на землю сухим дождём.

— Он живёт, ваше преосвященство. Жрёт мало, молчит много. Как вы и велели — никто не знает.

— Уродство — это печать, Марта, — произнёс человек в чёрном, наклоняясь ниже. Алистер почувствовал жар, исходящий от него. — Божье провидение иногда пишет свои послания на кривой бумаге. Держи его в тени. Камень не должен видеть солнца слишком часто.

Незнакомец бросил в ящик тяжёлую монету. Она ударилась о плечо маленького Алистера, обжигая холодом золота. В тот момент мальчик впервые осознал, что он не просто ошибка. Он — секрет. Тайна, зашитая в деревянную утробу, нежелательная улика чужого греха.

И тогда, сквозь щель, он поймал взгляд человека в чёрном — на одну секунду, прежде чем крышка отсекала свет. Этот взгляд не ушёл вместе с шагами по причалу. Он остался — вбитый в дерево ящика, как гвоздь. Спустя тридцать лет, стоя на лесах в тумане, Кроук всё ещё чувствовал его на своей спине, между лопаток, там, где рос горб. Отец никогда не переставал смотреть. Просто сменил расстояние.

Когда крышка снова захлопнулась, Алистер не заплакал. Он протянул узловатую руку и коснулся доски, начав царапать дерево ногтями, пытаясь вырезать на нём тот самый символ, который видел на перстне незнакомца. Он ещё не знал букв, но знал форму.

Тень того человека — высокого, властного, пахнущего церковным воском — преследовала его всю жизнь. Теперь, стоя на лесах собора в 1852 году, Кроук понимал, что тесные доски его детского ящика просто сменились на тесные улицы Лондона. Но фундамент его боли был заложен там, в гнилой сосновой шкатулке, под присмотром женщины, любившей золото больше, чем искалеченного сына, и отца, считавшего его лишь «кривой бумагой» для своих тайных писем.

Алистер сжал рукоять долота так, что костяшки побелели. Он вспомнил, как Марта однажды, в тяжёлом хмельном угаре, прошептала в щель ящика: «Твой папаша строит небеса на земле, Алистер. А тебя он закопал в самый подвал, чтобы фундамент не качался».

Теперь, спустя годы, Алистер стоял на вершине этих «небес», которые строил епископ Галл. И чувствовал, как фундамент под его ногами начинает дрожать от нетерпения.

Годы в сосновой утробе текли не как речная вода, а как густая смола, застывающая в лёгких. Время измерялось не рассветами и закатами — Алистер не видел ни того, ни другого, — а пульсацией боли в растущих, сдавленных костях. Когда левое плечо упёрлось во влажную, покрытую плесенью доску, он физически ощутил, как хрящ поддается, как ключица, не найдя выхода, начинает закручиваться внутрь, образуя первый тугой бугор будущего горба.

Гроб Марты стал его первой литейной формой: точно так же, как раскалённая бронза принимает очертания глиняного слепка, плоть Алистера принимала форму нищеты и ненависти, в которую её залили.

Его первым резцом стал гвоздь — проржавевший кровельный костыль, неосторожно вбитый пьяным плотником, сколачивавшим прилавок. Острие торчало внутрь ящика, грозя распороть мальчику щёку при неловком движении. Неделями Алистер расшатывал его — сначала стёртыми в кровь молочными зубами, затем окрепшими пальцами. Когда ржавое железо наконец выпало ему на ладонь, он обрёл первую в жизни власть. В непроницаемой тьме, где глаза были бесполезны, прозрели его руки — он начал вырезать мир, который только слышал, на внутренней стороне своей тюрьмы.

Слепой скульптор, создающий барельефы из звуков и запахов. Хриплый кашель матроса, выплёвывающего лёгкие на брусчатку Уайтчепела, под пальцами Алистера превращался в глубокую, рваную борозду. Звон фальшивого шиллинга, который Марта швыряла в лицо покупателю, — в частые, яростные уколы, складывающиеся в неровный круг, похожий на пасть миноги.

Он высекал в гнилой сосне человеческие пороки задолго до того, как прочитал о них в проклятом фолианте — не зная книжных названий. «Блуд» был ритмичным скрипом соседней двери и стонами, пахнущими элем, — и он выпарапывал этот скрип сплетёнными, удушающими друг друга линиями. «Алчность» была шелестом ассигнаций в руках менял — и ложилась на дерево жёсткими рубцами, похожими на тюремную решётку. Доски ящика изнутри превратились в осязаемый гобелен человеческого падения. Искорёженный мальчик читал его кончиками пальцев, как слепец читает писание.

Единственным лицом, которое он попытался вырезать по-настоящему, было лицо человека в чёрном. Епископа. Отца. Он никогда не видел его четко — лишь абрис во мраке да блеск перстня на белом пальце, — но помнил запах дорогого ладана, перебивающий вонь тухлой рыбы. Он царапал дерево с такой яростью, что гвоздь вяз в смолистых волокнах, а под сломанные ногти забивались щепки. Лицо получалось пустым — безглазый овал, увенчанный короной из колючих линий. Смерть, облачённая в сутану.

Там, задыхаясь от рыбной вони, Кроук усвоил главный закон: форма диктует суть. Если долго сжимать живую плоть, она станет чудовищем. А если долго и методично уродовать мёртвую материю, вбивая в неё ненависть, она может ожить и потребовать крови.

Выбрался он из ящика лишь на девятом году жизни — не потому, что Марта сжалась. Просто Темза в ту зиму вышла из берегов, затопив доки ледяной водой вперемешку с крысиными трупами и нечистотами. Прилавок подмыло, сосновая коробка треснула по швам, гнилое дно отвалилось цельным куском трухи, и Алистер с криком вывалился в ледяную жижу — слепой, бледный краб, внезапно лишившийся раковины. Марта к тому времени уже умерла — сгнила от «французской болезни» в работном доме двумя месяцами ранее. Он выжил, питаясь объедками, что падали сквозь щели, и слизывая языком дождевую влагу с промёрзших досок.

Тогда Лондон впервые увидел его целиком: грязный уродец с гигантским горбом, скрюченными колесом ногами и глазами затравленного волка. Толпа портовых зевак расступилась; женщины брезгливо подбирали подолы, матросы судорожно крестились. А он стоял на четвереньках в грязи, дрожа от ветра, и намертво сжимал в кулаке свой единственный талисман — ржавый гвоздь.

Теперь этот кусок железа сменился на шеффилдский резец, а гнилая сосна — на вечный базальт. Но суть осталась неизменной. Мир вокруг был всё тем же ящиком, только чуть больших размеров.

Кроук стоял на лесах, методично опуская киянку на казённый известняк. Удары эхом разносились над туманной пропастью города. Скрабб мельтешил где-то внизу, похожий на суетливого навозного жука, но Алистер его не замечал — разум блуждал в клаустрофобном мраке прошлого.

Он понимал, что епископ Галл, человек с золотым перстнем, все эти годы был жив и упивался своей властью, возводя этот исполинский собор, пытаясь откупиться от небес каменными шпилями.

— Ты закопал меня в фундамент, отец, — беззвучно прошептали серые от пыли губы Кроука, пока долото вгрызалось в породу. — Но ты забыл, что корни уродливого дерева способны разорвать любой камень, если дать им время и вдоволь накормить их дерьмом.

Он ударил киянкой с удвоенной силой. Известняк брызнул крошкой. Над бездной Лондона он поклялся тёмным богам из своего фолианта, что не остановится, пока не выпотрошит этот город с помощью камня. Начнёт он с мистера Крампа, чьё раздутое лицо уже ждало вечера в чёрной базальтовой тюрьме на Монмут-стрит.

Время на лесах тянулось. Известняк крошился легко, послушно — но в этой покорности Алистер чувствовал лишь мёртвую пустоту: эта гаргулья будет просто плевать дождевой водой, никогда не познав вкуса человеческого порока. На соседнем помосте каменщики надрывались, строя храм для божества, которое никогда не услышит их молитв, — в то время как он готовился вершить истинный, осязаемый суд.

Прорвался надрывный вой фабричного гудка. Каменщики бросили инструменты, спеша к котлам с похлёбкой. Кроук остался на месте. Его мысли вернулись к Эбинейзеру Крампу, чьи пухлые пальцы сейчас жадно перебирали чужие монеты в переулках Ковент-Гардена. Под веками возник образ: чёрный монолит, из которого рвётся наружу искажённое алчностью лицо. Пора было вернуться на чердак.

Остаток смены превратился в пытку ожиданием. Горб превратился в неподъёмную гирю, но он терпел — терпению он научился ещё под рыбным прилавком. Наконец раздался хриплый звон колокола. Кроук отбросил киянку и начал спуск по лесам, похожий на сползание парализованного паука. Теперь он был не ничтожным черноработчим, а методичным палачом, возвращающимся к плахе, чтобы завершить начатое.

Спуск с лесов был лишь началом ежедневного нисхождения в преисподнюю. Улицы вечернего Лондона встречали Кроука влажным объятием. Газовые рожки едва пробивались сквозь туман цвета грязной горчицы, выхватывая фрагменты человеческого падения: скрюченные пальцы нищих из чёрных подворотен, стеклянные глаза опиумных курильщиков, оскаленные рты завсегдатаев дешёвых пабов.

Алистер брёл сквозь толпу, как тяжёлый баркас сквозь гнилую шугу. Люди инстинктивно шарахались от его сгорбленной фигуры. Но сегодня их страх казался ему нелепым: они не подозревали, что настоящая бездна скрывается не в его позвоночнике, а на чердаке дома на Монмут-стрит.

Он почти бежал, насколько позволяли короткие, вывернутые колесом ноги. Боль в суставах притупилась — её вытеснило жгучее предвкушение встречи с чёрным базальтом. Ему казалось, он кожей слышит глухой зов камня сквозь грохот экипажей. Порода жаждала завершения формы. Она была голодна.

Преодолев четыре пролёта лестницы, Кроук ввалился в каморку и задвинул засов. В нос ударил знакомый запах известковой пыли, смешанный с металлическим ароматом запёкшейся крови, въевшейся в верстак. Он не стал зажигать свечу — темнота была его верной союзницей ещё с тех пор, когда мир ограничивался стенками гнилой сосновой коробки.

Дрожащими от нетерпения руками он сорвал дерюгу с базальтовой глыбы. Даже в полумраке незаконченное лицо Эбинейзера Крампа казалось пугающе живым: тяжёлые нависшие веки будто подрагивали, а в провалах незрячих глазниц клубился спрессованный ужас. Алистер провёл пальцами по холодным краям породы. Камень вибрировал — едва уловимо, на грани осязания, но эта пульсация передавалась прямо в деформированное сердце резчика.

Кроук нашарил на полу оброненный резец. Холодная сталь легла в ладонь не как инструмент, а как продолжение костей.

— Ну здравствуй, Эбинейзер, — прохрипел Алистер. Голос прозвучал как скрежет сдвигаемой могильной плиты. — Сегодня мы углубимся в твою жадность. Мы вырвем её с корнем, слой за слоем.

Он перехватил рукоять киянки и занёс её над камнем. Первый удар разорвал тишину чердака, брызнув во мрак тучей чёрных искр.

В этот самый момент, в двух милях от Севен-Дайлс, в столовой дома на Флит-стрит, мистер Эбинейзер Крамп поперхнулся куском бараньей отбивной. Ростовщик сдавленно хрипнул, схватившись пухлыми, униженными перстнями руками за ворот рубашки. Его лицо, обычно бледное и сальное, стремительно наливалось багровым.

Воздух в зале стал густым, отказываясь проникать в лёгкие. Крампу на секунду показалось, что невидимая каменная рука сдавила его трахею. Внутри грудной клетки, под слоем жира и дорогого сукна, начало разрастаться нечто тяжёлое и монолитное.

А на чердаке Алистер методично, с леденящей расчётливостью вбивал лезвие в базальт, формируя оплывшие складки на шее скульптуры. Каждый удар молота отзывался новым спазмом удушья в горле ростовщика. Трансляция греха запустилась в полную силу. Кроук не чувствовал ни боли в спине, ни усталости — он был верховным жрецом у первобытного алтаря, анатомом, вскрывающим гнойный нарыв на теле Лондона.

В столовой на Флит-стрит паника обретала форму суетливого фарса. Служанка, выронив блюдо, зашлась визгом; осколки фарфора брызнули по паркету. Лакей бросился разрывать шейный платок хозяина, но пальцы Крампа, скрюченные, как лапы стервятника, намертво вцепились в собственную гортань.

Ростовщик пытался вдохнуть, но воздух стал вязким, как сырая глина. Он чувствовал, как внутри груди стремительно уплотняется мрак — не кусок мяса, застрявший в горле, а процесс чудовищной минерализации. Лёгкие, привыкшие дышать запахом векселей, превращались в жёсткую пемзу. Из его рта вместо крика вырвался тонкий серый ручеек сухой известковой пыли.

На чердаке Алистер не видел этой агонии, но осязал её каждой костью. Базальт под резцом вёл себя вопреки законам физики: при каждом ударе киянки порода издавала влажный, хрустящий стон, будто сталь вгрызалась не в монолит, а в живые, покрытые жиром хрящи.

Кроук высекал мешки под глазами — тяжёлые складки, всегда напоминавшие ему кошель, набитые нечестно нажитым серебром. Он вбивал лезвие под острым углом, выдирая куски чёрного щебня; крошка секла щёки до крови. Глаза горели безумным огнём. Горб пульсировал, наливаясь жаром, будто через него извращённая жизненная сила ростовщика перекачивалась в мёртвый камень.

«Отдай мне свою алчность, — беззвучно шептали губы Кроука. — Отдай мне свой голод. Камень сбережёт его лучше, чем твоя гниющая требуха».

Удар. Ещё удар. Он работал с яростью демиурга. Контуры носа ростовщика, его носогубные складки проступали из базальта с фотографической точностью. Порода жадно впитывала форму.

На Флит-стрит Крамп рухнул со стула на ковёр, увлекая за собой скатерть с канделябрами. Тело выгнулось в гротескной дуге, суставы издали оглушительный треск. Глазные яблоки выкатились из орбит, капилляры лопались один за другим, заливая белки кровью, пока ткани

лица приобретали свинцовый оттенок сколотого камня. Он бился в конвульсиях среди рассыпанных деликатесов — движения становились всё более резкими, деревянными. Плоть капитулировала, уступая место форме его греха.

Алистер отбросил резец и взял инструмент с более широким лезвием, чтобы пройти по подбородку изваяния. Он не чувствовал усталости. Тот ящик под рыбным прилавком казался ему теперь не проклятием, а суровой школой, подготовившей его к этому моменту — он учился выживать в тесноте, чтобы теперь запереть чужую душу в ещё более тесном гранитном каземате.

Последний, сокрушительный удар киянки пришёлся на уголок высеченных губ, придавая им завершённое выражение абсолютной жадности. В тот же миг Эбинейзер Крамп на другом конце столицы издал последний скрежещущий хрип, будто два жёрнова с силой потёрлись друг о друга внутри его груди, — и замер навсегда, превратившись в неподвижную массу, проломившую своим весом дубовые доски пола.

Кроук опустил руки. Тишина, обрушившаяся на чердак, была оглушительной. Изваяние было закончено. И оно было голодным.

Глава 3. Анатомия Оцепенения

Тишина, воцарившаяся под скошенной крышей чердака, имела почти геологическую плотность — она давила на барабанные перепонки Алистера, как толща океанской воды. На верстаке, среди иззубренных долот и серой крошки, возвышалось то, что ещё вчера было куском слепого северного базальта. Теперь это было лицо — искажённая, застывшая в вечном спазме маска Эбинейзера Крампа.

Кроук стоял на коленях, опираясь сведёнными судорогой руками о шершавые доски. Дыхание вырывалось с присвистом разорванных кузнечных мехов. Чёрная порода больше не казалась мёртвой — она впитала нечто колоссальное, отчего камень потяжелел, налился чугуновой сытостью. Губы ростовщика казались влажными от ненасытной слюны, а складки у носа хранили тень презрительной усмешки. Но самое страшное крылось в слепых провалах глазниц. Они тянули в себя тусклый свет утра, не отдавая ни единого блика взамен.

Карлик медленно поднялся на ноги и прижал ладонь ко лбу статуи.

И замер.

Под кожей камня что-то тонко, отрывисто пискнуло — как живая тварь, прижатая слишком туго. Не эхо, не игра слуха. Кроук отдернул руку, снова прижал, крепче. Писк повторился, глубже, между костяшек. Внутри базальта было что-то живое. Трактат не лгал. Трансляция состоялась.

Где-то за лабиринтом закопчённых крыш, на Флит-стрит, сейчас суетились лекари и стервятники-наследники. Они будут искать яд в недоеденной отбивной, гадать о причинах апоплексического удара. Никто не свяжет почерневший труп скряги с изуродованным резчиком из Севен-Дайлс.

Алистер отдернул руку от базальта, будто ошпарившись. Приступ тошноты скрутил желудок — это было похмелье демиурга. Влив колоссальное количество своей вывернутой наизнанку силы в мёртвую материю, он опустошил себя до дна. Тело бил озноб, зубы выбивали дробь. Он попятился и рухнул на табурет, обхватив голову руками.

Столица за окном начинала привычный цикл: густой жёлтый дым над фабриками, скрип телег, крики торговков углем. Люди спешили жить и обманывать, не подозревая, что правила мироздания на этих улицах безвозвратно изменились.

Кроук заставил себя подняться. Нужно было спрятать творение — статуя Крампа обладала слишком сильным магнетизмом. Он подтащил к верстаку деревянный ящик, вытряхнул из него мусор и попытался сдвинуть базальтовую голову.

Порода не поддавалась. Изваяние размером чуть больше человеческого черепа будто вросло в столешницу. Кроук упёрся коленями в ножки верстака, натянул мышцы шеи и рванул на себя. Горб отозвался стреляющей болью, от которой потемнело в глазах. Камень с глухим скрежетом поддался на несколько дюймов — это был вес не минерала, а спрессованного, кристаллизованного груза алчности, копившейся десятилетиями.

С трудом, оставляя на досках борозды, Алистер столкнул статую в ящик. Она рухнула на дно с оглушительным стуком. Карлик закидал её обрезками холстины и стружкой, заколотил крышку кривыми гвоздями, используя обух киянки вместо молотка.

Только когда ящик был надёжно запечатан и задвинут в тёмный угол, Кроук позволил себе выдохнуть. Его мучила сухая, всепоглощающая жажда. Кувшин с элем опустел. Нужно было спуститься к водопойной колонке во дворе — заодно послушать, о чём шепчутся трущобы. Слухи в Лондоне распространялись быстрее холеры.

Он накинул плащ, надвинул капюшон и вышел, аккуратно задвинув за собой засов.

Утро в Севен-Дайлс пахло скисшим пивом и мокрой шерстью. На площадке второго этажа Алистер едва не споткнулся о бесчувственное тело бродяги с пустой бутылкой из-под джина. Во дворе, у чугунной помпы, толпились кухарки и прачки. Кроук замер в тени арки, прислушиваясь.

— ...прямо за ужином, говорю тебе! — взхлёб вещала дородная женщина с обваренными в щёлке руками. — Моя кухня служит у соседей на Флит-стрит, сама видела, как лекарей вызывали. Лицо у старого Крампа сделалось серым, как зола, и твёрдым, прости Господи, как булыжник!

— Туда ему и дорога, кровопийце, — сплюнула тощая прачка, выкручивая мокрую рубаху. — Он из моего мужа всю душу вытряс за долг в полкроны. От чего помер-то? Удушье?

— Лекарь сказал, нутро лопнуло. Но кухня клялась, что санитары, когда его поднимали, чуть спины не надорвали. Будто он свинца нажрался, а не баранины. Тяжёлый стал, как могильный памятник.

Губы Алистера, скрытые в тени капюшона, тронула кривая ухмылка. Механизм правосудия, описанный в фолианте, работал с пугающей безупречностью. Грех покинул плоть, сделав её пустой и тяжёлой оболочкой, и переселился в угольно-чёрную породу на его чердаке.

Он дождался, пока женщины разойдутся, и подошёл к помпе. Ледяная вода обжигала горло, смывая привкус известковой пыли, но не утоляя той метафизической жажды, что проснулась в нём минувшей ночью. Кроук смотрел на свои руки — инструменты разрушения. Но для идеальной анатомии ему не хватало одной детали.

Слепые глазницы Крампа не давали ему покоя. Камень может впитать суть, но чтобы статуя стала истинным зеркалом порока, ей нужен взгляд — мёртвый, но пронзительный, который невозможно высечь из базальта или мрамора. Ему нужен был материал, застывший между жидким и твёрдым состоянием. Хрупкий, прозрачный, способный улавливать и искажать свет.

Ему было нужно стекло.

Он знал одно место в лабиринте Сохо, где пламя печей никогда не гасло — мастерская стеклодувов. Вторая часть его замысла требовала ювелирной точности, и он не собирался доверять её случайным ремесленникам.

Кроук свернул в закопчённый тупик, где кирпичная кладка домов пошла паутинными трещинами от жара печей. В конце переулка, в полуподвале, зияла открытая пасть мастерской с полустёртой вывеской: «Стекло и свет. Оделия Гласс».

Внутри царил раскалённый хаос. Купольная печь изрыгала пламя. Но взгляд карлика приковала фигура у самого зева печи — тонкая, почти прозрачная в янтарном свете девушка с длинной железной трубкой, на конце которой пламенел ослепительный сгусток жидкого огня.

В её движениях не было той разрушительной силы, с которой он вбивал резец в базальт, — только гипнотическая плавность. Она не ломала материал, она договаривалась с ним. Рас-

плавленный песок дышал, остывая до вишнёвого и снова вспыхивая жёлтым. Она вдувала в мёртвый песок часть собственной жизни — акт, противоположный тому, что минувшей ночью совершил Алистер на чердаке. Он вытягивал из камня форму чужого порока. Она наполняла пустоту светом.

Девушка ловко отсекала сферу железными ножницами и остановила испуганный крик подмастерья спокойным жестом, не обернувшись.

Только тогда до Кроука дошло, что делало её ещё более чужеродной в этом мире грохота и рёва печей. Она существовала в абсолютной тишине. Она была нема.

Алистер натянул капюшон ниже, пряча бугристый череп, и толкнул тяжёлую дверь. Ему жизненно необходимы были глаза для мистера Крампа, способные отражать свет, но не пропускать его внутрь. Создать их могла только эта немая дева, вдыхающая жизнь в пустоту.

Переход от сырости к пеклу оказался резким — у карлика на мгновение потемнело в глазах. Двое подмастерьев, тащивших бадью с золой, замерли при виде его сгорбленной фигуры — для этих детей, привыкших к идеальным сферам расплавленного хрусталя, она казалась воплощением хаоса.

Но Оделия не вздрогнула.

Она опустила трубку на стеллаж, когда инстинкт, заменяющий ей слух, подсказал, что структура воздуха в мастерской изменилась. Девушка медленно обернулась. На её бледном лице не отразилось ни отвращения, ни страха — лишь спокойное, внимательное молчание.

Кроук остановился в трёх шагах от неё, за пределами красного круга света. Вблизи она казалась ещё более хрупкой — но эта хрупкость была обманчивой, как у стального клинка. Кожанный фартук был испещрён подпалинами, на предплечьях белели старые рубцы от ожогов — плата за право играть с текучим огнём.

Они смотрели друг на друга сквозь рёв пламени. Горбун, чьим ремеслом было забирать жизнь, высекая её в мёртвом базальте, и немая дева, вдыхающая тёплую душу в раскалённую пыль.

Алистер понял, что слова здесь бессильны — и не только потому, что она их не услышит. То, что он собирался заказать, нельзя было описать языком рыночных торговок. Он опустил руку в карман плаща и достал огрызок графита.

Взгляд Оделии скользнул по его рукам: сбитые в кровь костяшки, серо-чёрная пыль ночной работы, мозоли, похожие на панцирь черепахи. Её глаза, цвета замёрзшей Темзы, слегка сузились. Она молча указала на рабочий стол, крытый листом железа.

Кроук подошёл. Жар печи обжёг левый бок, но он не поморщился. Прижав графит к ржавой поверхности, он начал рисовать.

Линии ложились тяжело, с надрывом. Он не стал выводить обычный человеческий глаз — он рисовал анатомию алчности и пустоты: идеальный овал, жёстко заштрихованные края, зрачок, похожий на бездонный колодец. Он хотел передать саму суть взгляда Эбинейзера Крампа.

Завершив эскиз, Алистер поднял голову. Оделия неотрывно изучала рисунок. Карлик постучал пальцем по нарисованному зрачку, покачал головой и указал на пламя печи, затем сложил ладони лодочкой и сжал их, имитируя мёртвую хватку скупости.

Он пытался сказать ей жестами: свет не должен проходить сквозь них. Они должны глотать его, ничего не отдавая взамен.

Девушка подняла руку и положила пальцы поверх его ладони — сухое, поразительно горячее прикосновение. Она мягко забрала графит и рядом с эскизом провела одну изящную линию: разрез породы, внутри которой мерцала тёмная сфера — гладкая и стеклянная снаружи, глухая, заполненная чёрной золой внутри.

Затем она вывела одно слово над рисунком: «Смотри».

Кроук посмотрел. И на секунду линия разреза, только что нацарапанная графитом, показалась ему не чертежом, а лицом — уголок рта на сером камне дрогнул, растянулся. Улыбка. Ещё не высеченная, ещё не существующая — но уже там, внутри камня, ожидающая своего часа.

Она поняла. Не ответила — просто кивнула, и в её водянистых глазах на миг мелькнула искра, от которой у Алистера похолодело внутри. Не просто согласие ремесленника — азарт. Создать стекло, которое отрицает свою природу. Сделать прозрачное слепым.

Кроук достал кожаный кошель с жалкими сбережениями и высыпал на стол горсть шиллингов. Оделия смахнула их обратно в его ладонь и указала пальцем сначала на свои глаза, а потом на рисунок. Ей не нужны были деньги. Ей нужен был вызов.

Уговор был скреплён без единого звука.

Выход из мастерской оказался сродни прыжку в прорубь. Тяжёлая дверь захлопнулась, отсекая рёв печей. Сохо мгновенно сомкнул вокруг него холодные, влажные челюсти. Густой туман, пахнувший жжёной костью, облепил лицо карлика липкой плёнкой.

Кроук стоял в узком тупике, судорожно втягивая ледяной воздух. Тело, на мгновение расслабившееся в адском пекле, снова сжималось в привычный узел. Горб налился болью от перепада температур, колени предательски дрожали. Но внутри, под грудной клеткой, впервые за тридцать лет пульсировало нечто, отдалённо напоминающее триумф.

Она его не испугалась. Оделия смотрела на его обезображенное лицо, на его узловатые пальцы — но видела не уроды, которым пугают детей в приютах. Она увидела мастера. Такого же искалеченного миром ремесленника, только работающего с другой стороной вечности. Она — со светом и пустотой. Он — с мраком и тяжестью.

Алистер зашаркал прочь из переулочка, вливаясь в грязный поток улиц. Нужно было возвращаться на стройку — пропуск ещё одной смены гильдии ему не простит, а терять легальное прикрытие было пока рано.

По мере приближения к Флит-стрит атмосфера в толпе становилась наэлектризованной. Лондон был городом стервятников, питающимся слухами быстрее, чем свежим мясом.

— Апоплексия, не иначе! — донёсся визгливый голос торговли каштанами, обращавшейся к чистильщику обуви. — Говорят, его раздуло, как утопленника, прямо за столом! Посинел так, что чернила бледнее кажутся!

— Врут, тётка Мэри, — огрызнулся мальчишка, орудуя щёткой по чужому сапогу. — Мой брат у гробовщика в подмастерьях. Он говорит, носильщики старого Крампа от пола оторвать не могли. Будто он не из сала сделан, а из чугуновой болванки. Лебедку с верфи тащить пришлось, чтоб на кровать взгромоздить!

Кроук замедлил шаг, позволив толпе обтекать его. Каждое слово было подтверждением его новообретённой власти. Эбинейзер Крамп был повержен не ядом и не ножом в подворотне — его убила собственная алчность, перекачанная в кусок отбракованного базальта руками презираемого всеми калеки.

«Трансляция греха завершена, — подумал Алистер. — Плоть уступила место породе».

Когда он добрался до собора, серая хмарь уже сменялась бурными сумерками. Десятник Скрабб встретил его визгливым лаем:

— Баратеон! Ты где шлялся, гнилая колода?! Половина смены прошла! Живо наверх, и чтобы до заката пасть этой химеры была закончена, иначе я лично спущу тебя с лесов за шиворот!

Кроук остановился и медленно повернул голову. Взгляд карлика, обычно упёртый в носки собственных сапог, вонзился в переносицу десятника с тяжестью могильной плиты. Скрабб осёкся. В глазах горбуна не было привычной покорности — там была абсолютная, мёртвая пустота, точно такая же, какую Алистер высек в глазницах статуи. Десятник инстинктивно отступил, прижав к груди груди гроссбух.

Ничего не ответив, Алистер начал подъём по шатким лестницам.

На своём ярусе он опустился на колени перед казённым блоком известняка. Слепая гаргуля ждала его — жалкая подделка, не имеющая ничего общего с истинным искусством. Каждое прикосновение металла к мягкой породе теперь вызывало физическую тошноту. Известняк крошился легко, как засохший хлеб, не оказывая сопротивления. В нём не было крови. В нём не было чужого порока.

Алистер методично, с ледяным равнодушием отсекал лишние куски породы, формируя складки крыльев химеры. Белая пыль оседала на коже, превращая лицо в застывшую алебастровую маску.

На высоте ста футов, подвешенный между свинцовым небом и чадающей бездной, Кроук размышлял об анатомии оцепенения. Внизу, в Вест-Энде, в этот час тело Эбинейзера Крампа лежало на столе, накрытое простынёй. Смерть ростовщика не была просто остановкой сердца — это была финальная стадия минерализации души. Он стал идеальным фундаментом для нового миропорядка, который Алистер собирался выстроить своими руками.

— Ты слишком податлив, — прохрипел Кроук, обращаясь к известняку. Голос растворился в завываниях ветра. — В тебе нет ни капли греха. Ты просто строительный мусор, призванный услаждать взор лицемеров.

Он занёс киянку и ударил по зубилу с чуть большей силой, чем требовалось. Откололся кусок размером с кулак, обнажив зернистую сердцевину камня. Ошибка ремесленника, за которую Скрабб устроил бы скандал. Но Алистеру было плевать — он оставил на скуле гаргульи глубокий рваный шрам. Пусть этот храм гордыни, возводимый его так называемым отцом, епископом Галлом, носит на себе следы его презрения.

Часы тянулись невыносимо медленно. Боль в позвоночнике, обычно изводящая его к середине смены, сегодня ощущалась иначе — тупой, отдалённой, будто тело тоже перенимало свойства камня.

Его разум постоянно возвращался к мастерской в Сохо — к немой Оделии перед ревущим зевом печи, к её тонким пальцам, вращающим железную трубку. Она была его полным антиподом: он был тяжестью земли, вбирающей мерзость, она — пламенем, очищающим прах до звенящей прозрачности. И всё же их ремёсла должны были слиться воедино, чтобы базальтовый идол обрёл зрение.

К вечеру дождь усилился, превратившись в плотную серую завесу. Каменщики начали сворачивать работу, кутаясь в промокшие плащи. Кроук тоже отложил инструмент. Гаргуля была закончена — уродливая, кривобокая, с глубоким шрамом на скуле и пустыми глазницами.

Спуск во тьму улиц был рутиной, но сегодня в нём крылась тяжёлая торжественность. Улицы встретили привычным смрадом, но Алистер больше не чувствовал себя частью этой клоаки. Он шёл сквозь толпу, как ледокол сквозь грязную пену. Никто не смел задеть его плечом. Люди инстинктивно чувствовали исходящую от него гравитацию смерти.

Добравшись до своей двери на Монмут-стрит, он долго стоял в полутьме, прислушиваясь. За стенами копошились крысы, где-то плакал ребёнок, но из его каморки не доносилось ни звука. Тем не менее Кроук знал: ящик в углу не пуст. Запертая в нём базальтовая голова излучала глухое давление, ощутимое даже сквозь дубовые доски. Она ждала — когда стеклянные сферы подарят ей возможность увидеть этот прогнивший мир и выбрать следующую жертву.

Засов поддался с тяжёлым скрежетом. Алистер переступил порог и плотно затворил дверь, отсекая себя от гниющего организма трущоб. Темнота чердака обняла его — но это больше не была та спасительная мгла, в которой он прятался годами. Воздух в комнате загустел, приобрёл плотность невидимого киселя и пах теперь не только известкой, но и сухим озоном — так пахнет расколотый молнией гранит.

Источник этого изменения покоился в углу, в заколоченном ящике. Кроук не зажёл свечу — ноги сами, по памяти, проложили маршрут к расшатанной половице. Он извлёк из тайника

свёрток с трактатом. Бычья кожа казалась тёплой на ощупь, будто книга питалась той же извращённой энергией, что и базальтовая голова в ящике.

Лишь водрузив манускрипт на верстак, Алистер чиркнул спичкой. Ему нужно было понять, что происходит с ним самим. Весь день на лесах он чувствовал, как чуждый человеческой природе холод медленно расползается от позвоночника к периферии тела. Суставы не просто ныли — они каменели.

Он водил ногтем по латинской вязи, выхватывая суть сквозь века забвения.

«Ибо Резчик, берущий на себя бремя переноса, суть сосуд сообщающийся, — гласил текст, обрамлённый гравюрами искривлённых тел, вплетённых в архитектурные своды. — Вытягивая гной из плоти мира, дабы заключить его в камень, он неизбежно пропускает скверну сквозь собственную кровь. Чем тяжелее порок, тем глубже оцепенение, охватывающее самого творца. Дабы не обратиться в соляной столп, подобно жене Лота, мастеру надлежит запечатать извояние. Взгляд статуи — это открытая дверь в Бездну. Лишь когда слепые провалы будут заполнены сферами из мёртвого света, трансмутация завершится, и пуповина, связывающая Резчика с его творением, будет разорвана».

Алистер тяжело сглотнул. Значит, эта свинцовая тяжесть в его горбу — следствие незавершённого ритуала. Статуя ростовщика всё ещё пила его жизненные силы через невидимую пуповину тьмы, потому что глаза оставались пустыми. Она была подобна открытой ране на теле мироздания, жаждущей заполнения.

Ночь потекла в лихорадочном ожидании. Кроук не ложился — сон был невозможен. Он сидел на табурете, покачиваясь, как маятник сломанных часов, прислушиваясь к тому, как замедляется сердцебиение, как кровь густеет, уподобляясь ртути. Анатомия оцепенения захватывала его по миллиметру; пальцы приобрели мертвенно-бледный оттенок, будто высеченные из известняка.

Он думал об Оделии. О её тонких руках, не знающих грубой силы, но повелевающих огнём. Успеет ли она? Она была единственным ключом к его спасению и к продолжению его труда.

Часы на Вестминстере пробили четыре утра. Свеча захлебнулась в собственном жиру, погрузив чердак во мрак. Кроук остался сидеть в темноте, слившись со своим креслом, превратившись в ещё один неподвижный предмет мебели.

Когда бледные лучи рассвета начали просачиваться сквозь стекло, Алистер заставил себя подняться. Это стоило колоссальных усилий — колени хрустнули, словно в них ломались щепки. Он подошёл к лохани и плеснул в лицо затхлой водой.

Пора было возвращаться в Сохо.

Он не мог больше ждать. Пуповина тьмы тянула из него последние соки. Он натянул плащ, скрывая под капюшоном бугристый череп. Сегодня ему предстояло не просто забрать стеклянные сферы — завершить своего первого идола, вставить ему глаза и навсегда запечатать алчность Эбинейзера Крампа в камне. И только тогда, освободившись от оцепенения, он сможет открыть фолиант вновь, чтобы выбрать следующую жертву. Ибо Лондон был полон гнили, а его резец только распробовал вкус настоящей работы.

Алистер отодвинул засов и шагнул в сырое утро.

Глава 4. Отражение Пустоты

Ступая по скользкой брусчатке, Алистер чувствовал, как каждый шаг отдаётся в позвоночнике костяным скрежетом. Внутри него, от основания горба, укоренялся минеральный холод. Оцепенение, запущенное незавершённым ритуалом, сковывало сухожилия. Если он не вставит статуе глаза до полудня, кровь превратится в известковую пыль.

В мастерской его уже ждала Оделия. Она молча извлекла из кармана лоскут чёрной замши и развернула ткань. На ней лежали две идеальные сферы — снаружи прозрачные,

внутри клубилась бархатная тьма. Пустота, пойманная в ловушку расплавленного песка. Свет не отражался — сферы проглатывали его.

Алистер протянул к ним руку, ожидая холода — но сферы хранили тепло печи и её рук. Он склонил массивный череп в поклоне, которого не делал ни перед епископами, ни перед магистрами Гильдии. Признание равного.

Обратный путь в Севен-Дайлс стал пыткой. Ноги двигались, как плохо отёсанные тумбы. За пазухой, у леденеющего сердца, покоился свёрток — только слабое тепло сфер не давало ему остановиться.

На середине лестницы Алистер вдруг услышал это — тонкий, почти музыкальный гул, доносящийся сверху, из каморки. Не скрип половиц. Нота. Базальт пел — ждал.

Он ввалился в каморку и рухнул на колени перед ящиком. Вырвал гвозди ломиком. В тусклом свете показалось лицо Эбинейзера Крампа — оплывшая, лоснящаяся порода. Глазницы зияли двумя пустыми воронками.

Кроук вдавил первую сферу в левую глазницу. Влажный чавкающий звук — сфера встала на место, будто росла там всегда. Вторую — в правую.

По чердаку прошла невидимая волна. Статуя вздрогнула. Стекланные глаза сфокусировались — и в тот же миг Алистер понял: камень внутри Крампа отныне смотрит на мир не глазами, а его собственными трещинами.

Пуповина лопнула с оглушительным звоном. Оцепенение спало, как разорванные кандалы. Он закричал — не от страха, от боли возвращающейся жизни.

Ритуал был завершён. Эбинейзер Крамп был запечатан навечно.

Алистер склонился над фолиантом. Он перевернул лист, на котором была описана «Трансляция греха», и его взору открылась новая гравюра.

Рисунок изображал женщину, чьё тело было стянуто корсетом, состоявшим не из китового уса, а из переплетённых, когтистых демонических лап, впивающихся в рёбра. Её лицо, надменное и прекрасное, распадалось на фрагменты, подобно треснувшей фарфоровой маске, а из-под трещин сочилась густая тёмная субстанция. Вокруг шеи обвивалась змея с человеческим лицом, пожирающая собственный хвост.

Текст под гравюрой гласил: *«Алчность есть фундамент, тяжёлый и слепой. Но на нём возводится Гордыня — порок пустотный, звенящий фальшью. Тицеславие не имеет веса базальта, оно подобно пористому мрамору, впитывающему лезть и извергающему яд. Резчик, познавший тяжесть земли, должен научиться высекать пустоту, ибо лицемер скрывает свою гниль за слоем белил и кружев».*

Кроук провёл пальцем по пергаменту. Лицемерие. Столица была выстроена на нём, как на сваях, вбитых в гнилое болото. Аристократы, зажимающие носы надушенными платками при виде нищих, пока их собственные души смердели хуже сточной канавы. Леди и лорды, жертвующие пенни на приюты, чтобы в тот же вечер проиграть состояния в клубах Мейфэра.

Его желудок свело судорогой. Ритуал выжег из него огромное количество энергии. Алистер бросился к полке, где хранил скудные запасы — огрызок сыра с плесенью и половину луковицы. Он впился в еду зубами, глотая куски почти целиком, запивая затхлой водой. Тело требовало строительного материала, чтобы восстановить повреждённые ткани.

Набив желудок, он утёр рот тыльной стороной ладони. Силы возвращались, а с ними — холодная, расчётливая уверенность. Он больше не был жертвой. Он не был уродливым пятном на фоне архитектуры Лондона. Он стал её тайным анатомом.

В памяти всплыл образ. Несколько недель назад Гильдия отправила его в Вест-Энд заменить треснувшую плиту на крыльце особняка семейства Вейн. Леди Селестина Вейн. Кроук помнил её выход из экипажа — она ступала так, словно сама гравитация была ей обязана. Платье из тяжёлого изумрудного бархата, ожерелье из кроваво-красных рубинов. Когда она проходила мимо работающего на коленях Алистера, он случайно поднял взгляд.

В её глазах не было простого пренебрежения — там было нечто худшее: абсолютное обесценивание. Для неё изуродованный каменотёс был не животным, он был элементом пейзажа, грязной лужей, через которую нужно переступить, не запачкав подол. Но в тот же миг Кроук уловил и иное: из-под слоя пудры и французских духов пробивался тонкий дух разложения. Запах старых грехов, скрытых за фасадом благопристойности. Поговаривали, что леди Селестина отравила первого мужа, выдав это за чахотку, чтобы завладеть его состоянием, и теперь содержала штат молодых любовников, выбрасывая их на улицу, как только они ей наскучивали.

«Мрамор, — подумал Алистер, глядя на гравюру. — Для твоего тщеславия, Селестина, потребуется самый холодный, самый безжалостный белый мрамор, добытый в каррарских каменоломнях. Мрамор, который впитает твою ледяную гордыню и оставит от тебя лишь пустую, сморщенную оболочку».

Он закрыл фолиант, завернул в бычью кожу и спрятал в тайник. Ритуал с ростовщиком научил его многому: он не сможет работать вслепую. Ему нужно было изучить Селестину Вейн так же, как он изучал кусок сырой породы перед первым ударом долота. Найти её трещины. Нашупать внутренние дефекты надменной души.

Лондон за окном окончательно проснулся. Кроук подошёл к ящику и, взяв ржавые гвозди, наглухо заколотил крышку обухом киянки. Глухие удары разнеслись по чердаку, ставя финальную печать на склепе мистера Крампа.

Затем карлик стянул с себя рубаху. В тусклом свете дня его горб возвышался гротескной горой плоти. Он взял тряпку, смочил её в остатках воды и начал стирать с себя следы ночного безумия. Нужно было вернуться на леса собора. Десятник Скрабб не должен ничего заподозрить.

Он облачился в сухую одежду, надвинул капюшон и шагнул за порог. Спуск по лестнице показался ему удивительно лёгким — ноги, ещё несколько часов назад напоминавшие гранитные тумбы, теперь пружинили с хищной грацией выжившего зверя.

Выйдя на Монмут-стрит, Алистер втянул ноздрями лондонский смог. Раньше этот запах вызывал глухую тоску, напоминая о его месте на дне. Теперь он воспринимал эту вонь как запах сырья. Мимо пробежала стайка беспризорников, гоняющих по лужам дохлую крысу. Щёголь в клетчатых панталонах брезгливо пересекал улицу, стараясь не запачкать штиблеты.

Алистер смотрел на них из-под капюшона, и его губы кривились в жёсткой усмешке. Они все были лишь кусками бесформенной глины, гипса, песчаника. И он, отмеченный уродством изгой, обладал правом придавать им истинную, вечную форму.

Утренний туман обволакивал шпили собора, когда Алистер подошёл к лесам. Вчера он тащился сюда, раздавленный тяжестью горба и страхом перед оцепенением. Сегодня его башмаки ступали по брусчатке с твёрдостью палача, идущего к эшафоту. Столица бурлила вокруг, но Кроук больше не чувствовал себя песчинкой в её пасти. Он стал зубом этого левиафана.

На площадке царила привычная суэта. У времянки гильдии стоял Скрабб, кутаясь в сюртук и выкрикивая команды простуженным голосом. Увидев Алистера, десятник рефлекторно открыл рот для очередной порции брани, но слова застряли в горле. Скрабб моргнул. Горбун не изменился внешне, но в его походке исчезла привычная сутулость жертвы. Кроук двигался с той сжатой грацией, что бывает у псов, почуявших кровь на бойне.

Алистер прошёл мимо надсмотрщика, не повернув головы. Он чувствовал спиной неуверенный взгляд Скрабба, и это доставляло ему мрачное удовлетворение.

Подъём на высоту ста футов больше не казался пыткой. Добравшись до яруса, карлик принялся за работу над новой водосточной химерой. Пока руки выполняли механическую работу для Гильдии, разум выстраивал план.

Леди Селестина Вейн. Тщеславие в изумрудном бархате. Мрамор. Холодный, слепаще-белый каррарский мрамор — материал, из которого ваяют надгробия святых.

Такой камень охраняли в гильдейских хранилищах — для алтаря и скульптур апостолов. Но бракованные сколы, «слепые клинья», сбрасывали в овраг за восточной стеной.

Дождавшись темноты, Кроук спустился в овраг и на ощупь перебрал грязь, пока пальцы не наткнулись на что-то, показавшееся льдом посреди жижи. Безупречный каррарский мрамор.

Выбираясь наверх с камнем, он замер за штабелем балок, пропуская патруль. И в этой неподвижности впервые ощутил: мрамор в руках не грел его тепла — выпивал. Ладони немели быстрее, чем должны были от одного лишь холода камня. Он ещё не понимал, что это значит. Поймёт только к утру.

Дома он отмыл скол в темноте, на ощупь, слой за слоем счищая глину. Когда наконец чиркнул спичкой — из мрака выступила ослепительно белая порода с прожилками, похожими на застывшие вены. Из угла, где чернел заколоченный ящик Крампа, донёсся сухой скрежещущий звук — будто первый идол завозился внутри своей тюрьмы, почуяв нового соседа.

Мрамор требовал не киянки, а тончайших резцов и алмазных надфилей — анатомии лезвия, а не удара. Но прежде нужно было увидеть саму Селестину Вейн, найти трещины в её броне из бархата. Без этого он рискует высечь пустую куклу — и оцепенение вернётся, чтобы обратить его собственную плоть в камень.

Утром он выбил известковую крошку из плаща, втёр в щёки сажу и в последний раз взглянул на верстак — два полюса человеческого разложения, собранные в одной мансарде.

— Жди, — прохрипел он белой породе. — Твоя кровь будет цвета изумрудного бархата.

И зашагал на запад, туда, где за коваными оградами скрывалась леди Селестина Вейн.

Глава 5. Театр Фарфоровых Теней

Граница между мирами в этой чадающей столице не обозначалась стенами или рвами — она осязалась ноздрями и подошвами стёртых башмаков. По мере того как Алистер продвигался на запад, оставляя позади гниющие кишки Севен-Дайлс, воздух менял свою плотность. Вонь кислой капусты и дешёвого джина отступала перед ароматами жжёного кофе, дорогого табака и французских духов, пробивающихся сквозь смог.

Грязная жижа под ногами уступила место идеально подогнанной брусчатке, выскобленной нищими метельщиками до неестественной чистоты. Алистер вступил в Мейфэр.

Для любого оборванца этот район сверкающих фасадов и кованых оград был бы недостижимым Олимпом. Но Кроук шёл иначе. Слой сажу, втёртой в рубцы на щеках, и выбитый от пыли плащ делали его безликим — просто ещё одной кляксой тени на фоне чужого богатства. Его горб, скрытый под сукном, больше не казался ему бременем — это был тайный резервуар карающей силы.

Особняки Мейфэра возвышались по обе стороны проспекта, подавляя выверенной симметрией. Белоснежные колонны, лепные карнизы, тяжёлые портьеры — всё это великолепие вызывало у карлика приступ глухой тошноты. В этой идеальной геометрии не было жизни. Мейфэр походил на роскошный труп, напудренный свинцовыми белилами и уложенный в гроб из красного дерева. Высший свет прятал своё разложение за фасадами, выстроенными такими же рабами Гильдии, каким до недавнего времени считал себя Алистер.

Особняк семейства Вейн располагался в глубине небольшой площади, отгороженный полукругом старых вязов, выстроенный в палладианском стиле. Кроук выбрал позицию на противоположной стороне, втиснув деформированное тело в нишу между тумбой для коновязи и чугунной решёткой. Отсюда крыльцо Вейнов просматривалось как на ладони.

Ожидание началось. Утренняя сырость пробиралась под одежду, но Алистер умел ждать — он замер, уподобившись одной из тех каменных химер, которых годами высекал для соборов.

К парадным дверям то и дело подъезжали экипажи, лакеи в напудренных париках таскали картонки с нарядами и корзины с фруктами — вся эта суета обслуживала одного паразита, свившего гнездо в мраморных покоях.

Часы на далёкой башне пробили пополудни, когда двери особняка распахнулись. Сначала на ступени выскользнул лакей, раскатывая ковровую дорожку. А затем появилась она. Леди Селестина Вейн.

Кроук подался вперёд, фиксируя каждую деталь. На ней было платье из тяжёлого шёлка глубоких изумрудных оттенков, на плечах — накидка из чернобурки. Она двигалась не спеша, с той высокомерной грацией, которая присуща лишь тем, кто абсолютно уверен в своей безнаказанности.

Алистер смотрел на её лицо — безупречное, будто выточенное из каррарского осколка, дожидавшегося его на верстаке. Тонкий нос, аристократичные скулы, бледная кожа без единого изъяна. Но Кроук был резчиком. Он умел смотреть сквозь полировку, выискивая внутреннее напряжение материала.

Он ловил микроскопические движения её лицевых мышц. Когда молодой щёголь, дожидавшийся её у экипажа, бросился целовать затянутую в перчатку руку, на губах Селестины заиграла благосклонная улыбка. Но уголки рта были напряжены, а в холодных глазах на долю секунды мелькнула брезгливая скука. Она смотрела на поклонника не как на человека, а как на надоедливую муху, которую пока выгодно держать при себе.

В этот краткий миг безупречная маска дала трещину, и Алистер увидел зияющую фальшь. Её тщеславие было не просто чертой характера — это была чёрная дыра, пожирающая чужие эмоции и жизни, чтобы заполнить свою звенящую пустоту. Она была идеальна снаружи и мертвенно пуста внутри.

Карлик провёл пальцем по рукояти резца, спрятанного под плащом. Пальцы запоминали угол наклона подбородка, жёсткую линию скул, надменный изгиб бровей. Каррарский мрамор не терпит ошибок. Чтобы вскрыть эту фарфоровую гниль, ему придётся высекать не плоть, а саму надменность — слой за слоем, пока из камня не проступит истинный лик вдовы-отравительницы.

Экипаж с гербом Вейнов тронулся, унося Селестину прочь. Образ был захвачен. Слепок снят.

Экипаж исчез за поворотом, но Алистер не спешил покидать укрытие. Мышцы, скованные долгим неподвижным ожиданием, затекли до состояния окаменелого дерева. Горб отзывался тупой болью, будто переполненный свинцом мешок пришили к лопаткам. Но эта мука была ничтожна по сравнению с тёмной эйфорией, разгоравшейся в его воспалённом мозгу.

Кроук с трудом оторвал одеревенелую спину от стены. Суставы хрустнули с такой резкостью, что карлику на мгновение показалось, будто он привлёк внимание патрульного констебля, чья фигура в высокой каске как раз показалась на площади. Полисмен мерно вышагивал, взгляд его лениво скользил по газонам и начищенным молоткам на дверях.

Алистер втянул голову в плечи, превращаясь в бесформенную кучу лохмотьев. Он побрёл прочь, шаркая по самому краю тротуара. Констебль мазнул по нему равнодушным взглядом. Для стража порядка этот сгорбленный урод с вымазанным сажей лицом был не человеком, а досадным пятном на картине благополучия. Не грабитель — просто кусок лондонского дна, который сам уползёт в свою канаву, если его не трогать.

Это равнодушие, сквозившее в каждом взгляде Вест-Энда, раньше выжигало в душе Алистера клеймо неполноценности. Сегодня оно стало его непробиваемой бронёй. Они не видели в нём угрозы, потому что в их выхолощенном мире уродство ассоциировалось лишь со слабостью. Как чудовищно они ошибались.

Обратный путь на восток был медленным погружением на дно. Широкие проспекты сменялись искривлёнными переулками Сохо и Ковент-Гардена, город возвращал своё гнилое

лицо. Воздух снова стал вязким, приобретя вкус ржавчины и перегара. Гул тысячеголовой толпы ударил по барабанным перепонкам.

Кроук пробирался сквозь человеческое месиво, не замечая тычков. В голове пульсировал образ Селестины Вейн: линия лебединой шеи, изгиб накрашенных губ, мёртвый холод глаз, не способных на сострадание. Он мысленно проецировал этот образ на глыбу белого мрамора, выстраивая геометрическую сетку будущих разрезов. Тщеславие — это маска. Ему предстояло высечь не просто лицо, а идеальный фасад, натянутый поверх пустоты.

Когда он добрался до своей двери на Монмут-стрит, день уже клонился к серым сумеркам. Задвинув засов, Алистер привалился спиной к двери и закрыл глаза, вдыхая сухой запах каменной пыли. В углу безмолвно давил на пространство заколоченный ящик с базальтовым ростовщиком. Но карлика интересовало другое.

Он подошёл к верстаку. Каррарский осколок лежал там же — кусок слепящей белизны. Кроук провёл истёртыми в кровь пальцами по гладкой поверхности. Мрамор был холоден, как кожа отравленного покойника.

Рядом в футляре поблёскивали штихели и алмазные надфили. Инструменты ювелира. Инструменты безжалостного хирурга. Алистер скинул плащ, пододвинул табурет и взял в руку самый острый резец.

Он намеренно не зажёл свечу. На этапе первичной разметки ему не нужен был прямой свет, грубо искажающий тени — ему нужен был полумрак, в котором камень сам подскажет свои скрытые изъяны.

Кроук занёс стальное жало над мрамором. Он вспомнил надменную улыбку леди Вейн, и остриё коснулось белой породы с тихим шипением. Первый штрих. Театр фарфоровых теней распахнул невидимые двери.

Мрамор поддавался лезвию с пугающей покорностью — но стоило превысить нажим на волос, порода могла расколоться, как дешёвая фарфоровая чашка. Кроук выводил линию подбородка — острую дугу, созданную исключительно для того, чтобы взирать на мир сверху вниз. Он не копировал черты Селестины. Он анатомировал её гордыню.

И тут пришло осознание, ударившее подобно разряду тока. Ему не нужна была цельная голова. Лицемерие не имеет затылка. Оно существует только с фасада — там, куда падает свет бальных люстр.

Он перевернул осколок и принялся выдалбливать камень изнутри, оставляя лишь тончайшую скорлупу — лицевую маску, за которой будет зиять ничто. Работа заняла ночь. К рассвету на верстаке лежала маска: идеальный, пугающе точный слепок лица леди Вейн. Прекрасная той мёртвой, музейной красотой, что не вызывает желания прикоснуться.

Внутри — пустота. Сожми её грубой рукой — и она брызнет тысячами осколков, как разлетелась бы в прах сама Селестина, лишись она титулов и бархата.

Оставались глаза. Не тьма, как для ростовщика, — отражение. Стекло, которое возвращает миру его собственное ничтожество, оставаясь пустым внутри.

Путь в Сохо дался тяжело — базальт вливал в него тяжесть земли, мрамор действовал тоньше, вытягивая живое тепло. Карлик чувствовал себя таким же полым, как маска под половицей. У печи, жёсткими, он объяснил Оделии заказ: латунная пластина, зеркальный блеск, презрительный взгляд поверх неё. Она поняла с первого раза — и в её глазах мелькнул тот же мрачный азарт, что вёл его резец. Доспех для тщеславия.

Тяжёлая дверь мастерской захлопнулась, отрезав Алистера от жара. Сохо вновь сомкнулся вокруг него промозглым лабиринтом. Контраст ударил по лёгким с такой силой, что карлик зашёлся кашлем, опираясь на осклизлую стену.

Он брёл обратно на восток, и с каждым шагом странный холод внутри разгорался с новой силой. Это не была лондонская сырость. Это был зов каррарского мрамора: тончайшая маска Селестины Вейн, спрятанная под половицей, уже начала свою невидимую работу.

Базальт Крампа был тяжёлым, он вбивал Алистера в землю, превращая кровь в неподвижную ртуть. Мрамор действовал иначе. Тщеславие не имело веса — оно было паразитом, питающимся чужим вниманием. Теперь этот паразитический голод камня вытягивал из резчика остатки человеческого жара. Кроук чувствовал, как пальцы теряют чувствительность, а внутренности сворачиваются в ледяной узел. Оцепенение пустоты. Хуже, чем тяжесть земли.

Добравшись до Монмут-стрит, Алистер едва переставлял ноги. Винтовая лестница показала восхождение на ледник.

Ввалившись в каморку и задвинув засов, он не рухнул на топчан. Тепло не могло спасти его извне. Единственным способом разорвать ледяную пуповину было завершение ритуала.

Кроук опустил на колени у тайника. Окоченевшими пальцами он извлёк свёрток с маской и положил мраморное лицо Селестины на верстак. В тусклом свете порода казалась полупрозрачной. Белизна резала глаза безжалостной чистотой. Но страшнее всего было то, что скрывалось за фасадом. Там не было ничего — только грубые следы хирургической ложки, выскребшей из камня всю сердцевину.

Карлик придвинул табурет и сел напротив своего творения. Зубы выбивали дробь, но глаза горели фанатичным огнём. Нужно было подготовить сцену для финального акта.

Он достал медный подсвечник, вставил свечу, украденную из ризницы собора, и зажгёт её, установив так, чтобы пламя освещало маску строго спереди, подчёркивая гладкость мрамора. Задняя, полая часть погрузилась в непроницаемую тень.

Иллюзия совершенства была соблюдена. Спереди — надменное божество в изумрудном бархате. Позади — звенящая Бездна.

Кроуку оставалось только ждать. Оделии требовалось время, чтобы выдуть сферы и покрыть их изнутри серебром.

Ожидание стало пыткой. Мороз, исходящий от камня, проникал в кости. Алистер свернулся на табурете, обхватив плечи руками, горб вздымался в такт прерывистому дыханию. Он смотрел в пустые глазницы маски, сквозь которые проглядывал мрак каморки.

В какой-то момент, когда грань между явью и галлюцинацией начала стираться от холода, Алистеру показалось, что губы мраморной Селестины дрогнули — что тонкий, издевательский шёпот заструился по чердаку, пахнувший духами и старым ядом.

«Ты не выпьешь меня до дна, — беззвучно прошептали побелевшие губы карлика. — Я дождусь зеркал, и тогда ты подавишься собственным отражением».

Часы Вестминстера глухо отбили начало вечера. Алистер, похожий на оживший, покрытый инеем труп, заставил себя подняться. Пришло время возвращаться в Сохо.

Спуск на улицу дался ему так, словно он ступал по обледенелым кромкам скал. Холод, источаемый маской, следовал за ним по пятам, впиваясь ледяными иглами в спинной мозг. Тщеславие леди Вейн, запёртое в незаконченном камне, требовало своей дани.

Когда он ввалился в мастерскую, жар печей обрушился на него не как спасение, а как удар. Алистер пошатнулся, едва не рухнув на пол.

Оделия ждала его. Мастерская опустела — подмастерья разошлись. Увидев посиневшие губы и покрытую инеем кожу Алистера, она не выказала ни страха, ни жалости. Она понимала, что её заказчик работает с материями, не прощающими слабости.

Оделия развернула на столе кусок плотной ткани. Там лежали они — два идеальных выпуклых диска. Не сферы, поглощающие свет, как для ростовщика, а безупречные зеркала: тончайшее стекло, покрытое изнутри амальгамой серебра.

Поверхность линз не впитывала ни единого луча — она отбрасывала свет с режущей резкостью. Заглянув в них, Алистер увидел собственное искажённое лицо: впалые щёки, бугристый лоб. Зеркала не ввали, не искали в нём скрытой красоты — они констатировали факт его уродства с аристократическим равнодушием. Это был идеальный взгляд Селестины Вейн

— взгляд, возвращающий миру его собственную грязь, оставаясь при этом кристально пустым внутри.

Карлик коснулся стёкол. Они были холодными, несмотря на пекло мастерской — амальгама отсекала тепло так же надёжно, как и свет. Кроук поднял глаза на Оделию, завернул линзы в ткань, спрятал их у сердца и коротко кивнул. Слова были бы здесь излишеством.

Обратный путь на Монмут-стрит превратился в гонку со смертью. Оцепенение пустоты дошло до критической точки. Кровь кристаллизовалась в венах, каждый вдох давался с хрипом. Он почти на четвереньках вполз по лестнице, оставляя на ступенях влажные следы.

Засов лязгнул, отсекая ночь. Кроук рухнул на колени перед верстаком. Свеча почти догорела, отбрасывая на стены истеричные тени. В центре светового круга покоилась мраморная маска, будто живая в этом мерцании. Камень вытягивал остатки тепла из комнаты, превращая дыхание карлика в облачка пара.

Дрожащими пальцами Алистер извлёк свёрток, развернул. Серебряные линзы сверкнули, поймав огонёк свечи.

— Смотри на них, Селестина, — прохрипел Кроук, голос срывался, как треск ломающегося льда. — Смотри на них всех. И пусть они видят лишь своё ничтожество.

Он поднёс первое зеркало к пустой левой глазнице. Камень хищно подался навстречу стеклу — раздался сухой, щёлкающий звук, будто капкан захлопнулся над добычей. Линза встала на место, совпав с краями высеченного века. Он тут же вдавил второе зеркало в правую глазницу.

В ту же секунду ледяная удавка, сжимавшая его горло и сердце, лопнула. По камерке пронёсся беззвучный порыв невидимого ветра — пламя свечи пригнулось к воску, а затем вспыхнуло с новой силой. Оцепенение рухнуло, как разбитая витрина. Горячая кровь с рёвом хлынула по венам Алистера. Он закричал — коротко, хрипло, от боли возвращающейся жизни — и в изнеможении откинулся на пол.

Трансмутация завершилась. Пуповина, связывавшая его с тщеславием леди Вейн, была разорвана.

Алистер поднялся и взглянул на верстак. Маска была совершенна. Мрамор больше не флуоресцировал холодным светом — он стал плотным, ослепительно белым фасадом. А в глазницах теперь сияли два слепых, непроницаемых зеркала. Заглянувший в них не увидел бы ни души, ни глубины — только собственное искажённое отражение на фоне идеальной пустой белизны. Лицемерие обрело свою вечную, каменную форму.

Где-то в роскошных покоях Мейфэра, в этот самый миг, леди Селестина Вейн, сидя перед туалетным столиком, внезапно замерла. Рука с пуховкой зависла в воздухе. Она посмотрела в венецианское зеркало и с нарастающим ужасом осознала, что не чувствует собственного дыхания. Кожа стремительно теряла упругость, приобретая твёрдость полированного камня. Когда она попыталась закричать, связки издали лишь сухой, царапающий звук трущегося фарфора. Внутри неё, за рёбрами, стиснутыми корсетом, не осталось ничего, кроме гулкой пустоты. Театр фарфоровых теней дал своё первое и последнее представление.

Алистер отёр пот со лба. Вторая статуя была готова. Карлик подошёл к тайнику, откинул доску и извлёк фолиант. Жадность была погребена в базальте. Тщеславие застыло в мраморе. Но Лондон оставался бездонным колодцем гнили, и его резцы только начинали входить во вкус настоящей работы.

Глава 6. Багровый порфир

Смерть леди Селестины Вейн обрушилась на Мейфэр не громом, а ледяным шёпотом. Если Эбинейзер Крамп, задохнувшийся в собственной алчности, был для высшего света лишь неприятным напоминанием о смертности ростовщиков, то превращение безупречной вдовы в холодное изваяние повергло лондонскую элиту в первобытный ужас.

Алистер Баратеон узнал об этом на рассвете, выливая мутную воду в сточную канаву на Монмут-стрит. Мимо пробежал оборванный мальчишка-газетчик, надрывая глотку:

— Ужас в Вест-Энде! Леди Вейн окаменела за туалетным столиком! Врачи бессильны! Проклятие Медузы в Лондоне!

Карлик проводил его тяжёлым взглядом. Его губы дрогнули, но не сложились в улыбку — это был не триумф, а лишь очередной надрез на гниющем теле столицы. Он вернулся в каморку, вытащил из-под половицы маску с зеркальными глазами и уложил её во второй, наскоро сколоченный ящик, забив последний гвоздь поверх склепа мистера Крампа. Алчность стала фундаментом. Тщеславие — его холодным фасадом.

Но чтобы собор правосудия обрёл истинную форму, Алистеру требовалось нечто большее.

Утро на лесах собора выдалось неестественно тихим. Туман с Темзы цеплялся за шпиль. Каменщики работали без привычной брани, будто боялись разбудить нечто, дремлющее в самом камне. Скрабб жался к жаровне, нервно озираясь.

Кроук тесал казённый ракушечник, когда внизу, на площади перед порталом, началось движение. Прибыли лакированные кареты с гербами. Работа замерла. Алистер отложил киянку и подошёл к краю помоста. Внизу, окружённый суетливыми священниками, стоял он.

Епископ Галл. Его отец.

Кроук не видел этого человека вблизи с тех пор, как над ним, скрюченным в гнилой шкатулке, захлопнулась крышка. Но узнал мгновенно. Время лишь заострило хищные черты, добавив седины в гладко зачёсанные волосы. Сутана из тончайшего чёрного сукна, на холёном пальце — тот самый золотой перстень с печаткой.

Галл говорил негромко, но властный баритон отражался от стен, поднимаясь до самых лесов. Он рассуждал о божественном свете и очищении душ. Каждое слово источало благочестие, но Алистер, стоявший на сто футов выше, физически ощущал запах ладана, смешанный с запахом старой лжи.

— Вы строите не просто стены, джентльмены, — вещал епископ. — Вы возводите ковчег для праведников в этом море греха.

Рядом с епископом стоял лорд Малахия Торн, известный меценат, один из главных спонсоров строительства — грузный мужчина с мясистым багровым лицом и тяжёлым взглядом пресыщенного хищника. Он опирался на трость с набалдашником из слоновой кости, на толстых пальцах сверкали рубины.

Алистер знал о Торне то, о чём шептались лишь в самых тёмных переулках Сохо. Лорд содержал за закрытыми дверями поместья в Челси подпольный клуб, где юные, бесправные создания из работных домов исчезали навсегда. Торн был воплощением ненасытной похоти, извращённой вседозволенностью. И епископ Галл сейчас пожимал этому чудовищу руку, принимая его кровавые деньги на строительство храма.

Сжав кулаки, Алистер почувствовал, как внутри поднимается обжигающая волна. Алчность и Тщеславие были лишь инструментами. Похоть, пожирающая невинных, — вот истинная гниющая плоть этого города.

Дождавшись конца смены, Кроук поспешил на Монмут-стрит открыть фолиант.

Гравюра на нужной странице изображала тучного человека, чьё тело сплелось с телами змей и свиней в отвратительном клубке. Глаза были выколоты, изо рта извергался поток тёмной жидкости.

«Похоть есть огонь, пожирающий сам себя, — гласила латинская вязь. — Плоть, упивающаяся чужой болью, не может быть удержана ни тяжестью земли, ни холодом пустоты. Ей нужна клетка из запёкшейся крови. Императорский порфир — камень королей и палачей, цвета свернувшейся венозной крови. Лишь кровь камня способна впитать скверну извращённой плоти и не разорваться на части».

Порфир. Самый твёрдый из известных скульпторам камней — из него римляне высекали саркофаги для императоров, потому что камень был вечен. В Лондоне порфировых каменоломен не было; на стройке собора его не использовали — слишком дорог и сложен в обработке.

Алистер вспомнил старого антиквара, державшего лавку в переулках Холборна. Много лет назад Гильдия отправляла туда юного Алистера помогать перетаскивать статуи с раскопок. В пыльном подвале он видел обломок колонны цвета запёкшейся крови.

Ритуал требовал крови земли для лорда Малахии Торна. Карлик поднялся, задул свечу и спрятал книгу. Охота на похоть требовала иных инструментов и иного уровня жестокости — порфир придётся ломать и подчинять с той же безжалостностью, с которой Торн ломал свои живые игрушки.

Путь в Холборн пролегал сквозь паутину узких улиц, где фонари горели тускло. Здесь, вдали от блеска Мейфэра, Лондон казался древним старцем, впавшим в маразм. Вдоль тротуаров жались конторы стряпчих и лавки скупщиков краденого.

Алистер скользил сквозь туман бесшумной тенью. В его теле билась энергия двух поглощённых пороков — базальт дал тяжесть и устойчивость, мрамор — отстранённую безжалостность.

Лавка древностей Элиаса Финча располагалась в конце глухого тупика. Вывеска криво висела на ржавой петле. Витрина была затянута густой пылью.

Кроук толкнул дверь. Ржавый колокольчик издал надтреснутый хрип. Внутри пахло истлевшим пергаментом, миррой и мышинным помётом. Лавка походила на гробницу, куда стервятники сносили кости мёртвых эпох.

Хозяин, старик Финч, сидел за конторкой — тощий, с заострённым носом, похожий на высохшего богомола. Услышав шаги, он поднял голову от старинной монеты.

— Закрыто, — каркнул старик, сморщившись при виде уродца. — Подаяний не даю. Пошёл вон, пока я не кликнул констебля.

Алистер не ответил. Его глаза сканировали полумрак, выискивая цвет свернувшейся венозной крови. Он двинулся вдоль стеллажей.

— Ты оглох, ублюдок?! — Финч вскочил, выхватывая дубинку. — А ну пошёл прочь!

Карлик остановился у завала старых гобеленов в тёмном углу и одним движением сдёрнул пыльную ткань. В облаке взвеси обнажился обломок колонны.

Императорский порфир. Около двух футов в высоту, тёмно-багровый, почти чёрный, испещрённый мелкими белыми вкраплениями полевого шпата, похожими на осколки костей. Даже глядя на него, Алистер чувствовал тупую ярость, дремлющую в вулканической породе, — идеальный сосуд для похоти лорда Торна.

Кроук сбросил капюшон, обхватил холодный порфир обеими руками. Вес оказался чудовищным, гораздо тяжелее базальта. Камень сопротивлялся, будто прирос к полу — а затем, на долю секунды, подался слишком легко, будто сам качнулся навстречу. Кроук замер. Порфир не просто ждал. Он узнал руки, которые пришли за ним. Мышцы Алистера, закалённые ритуалами, напряглись канатами. С глухим скрежетом колонна оторвалась от пола.

— Положи на место! — взвизгнул Финч, бросаясь к карлику, в глазах вспыхнула алчность торговца. — Это египетский антик! Пятьдесят гиней, грязный ты выродок!

Алистер медленно повернулся. Он не стал защищаться или угрожать. Он просто посмотрел на старика.

Финч столкнулся не с жалким каменотёсом. На него обрушилась невидимая волна абсолютной тьмы — он увидел в глазах Алистера отражение слепых линз леди Вейн и бездонный мрак мистера Крампа. Воздух загустел, приобретя вкус известковой пыли и старой крови.

Старик поперхнулся собственным криком. Дубинка выпала из ослабевших пальцев. Лицо приобрело землистый оттенок, колени подогнулись. Он попятился, натываясь на стел-

лажи, сметая вазы. Он понял, что перед ним не вор, а воплощение того древнего рока, о котором он читал в полуистлевших гримуарах.

Кроук не произнёс ни слова. Он развернулся и понёс порфир к выходу.

Путь обратно на Монмут-стрит стал испытанием на пределе возможностей. Порфир тянул его к земле, сдирая кожу с пальцев сквозь ткань. Камень был агрессивен — не просто давил весом, а словно пульсировал, излучая кровавый жар. Алистер чувствовал себя так, будто несёт на груди живое сердце исполинского демона.

Каждый шаг давался с хрипом. Позвоночник трещал, грозя переломиться, но Кроук упрямо двигался вперёд. Образ Торна, принимающего благословение епископа, стоял перед глазами, питая его силы яростью.

Добравшись до каморки и водрузив обломок на верстак, он рухнул на табурет, руки были в крови, ногти обломались.

Перед ним, в тусклом свете, возвышалась вулканическая порода — гладкая, непроницаемая, невероятно твёрдая. Обычные резцы здесь сломаются в первую же секунду. Ему понадобятся алмазные буры, тяжёлые кувалды и изощрённое насилие над камнем.

Анатомия похоти требовала крови, и порфир был готов её пролить.

Багровый монолит лежал на верстаке, подобно отрубленной конечности древнего титана. При свете свечи камень вспыхивал глухим венозным багрянцем, испещрённый светлыми кристаллами, напоминающими осколки раздробленных костей.

Кроук протянул дрожащую руку и коснулся поверхности. В отличие от ледяного мрамора, порфир не вытягивал тепло. Он обжигал — глухая, дремлющая ярость земли, застывшая миллионы лет назад в жерле вулкана. Камень словно ждал новой мерзости, чтобы пробудиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.